БОР. ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

VI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

★

ТОМ

VII

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

ПОВЕСТИ С ВОСТОКА

★

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ Гиза.
Москва, Валовая, 28.
Главлит № А-41747. X. 20.
Гиз. 28554. Зак. 1019. Тир. 10000.
17 л.

КОРНИ ЯПОНСКОГО СОЛНЦА

ВСТУПЛЕНИЕ

ДНЕВНИКИ С СИНСЮ

... Я проснулся на рассвете, — и я не сразу понял, где я. Было кругом темно, и рядом пел петух, петуху отвечали другие петухи, и так же рядом пел соловей. Эти звуки были похожи на звуки нашей деревни. Я осмотрелся. Сьодзи (бумажные стены японского дома) были сдвинуты, и верхушка их горела красными полосами выходящего солнца. Хибати (японский камелек) потухнул, было холодно холодом апрельского рассвета. Рядом со мною на полу, на татами (циновки, расстилаемые по полу), в кимоно спали Сигэмори-сан и Канэда-сан. И я понял, — я в Японии, путешествую по Синсю, ночую в доме крестьянина-писателя Тития-сан. Я лежал, так же как Сигэмори и Канэда, в ватном ночном кимоно. На полу в полумраке были разбросаны книги, которые мы рассматривали с вечера. — И я очень больно стал думать о том, что вот те петухи и соловей, которые разбудили меня, поют совершенно так же, как петухи и соловьи в тысячах верст отсюда, на моей родине, в России, — и почему так случилось, что люди говорят и живут по-разному. — Роса рассвета не задерживалась бумажными стенами, я двинулся, и на меня посыпались капли росы.

Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят нет — этого не допускают их традиции, — и, когда надо сказать н е т, они не понимают и не слышат меня. Мы идем из дома в дом, горами, в Япон-

ских Альпах, в версте над уровнем моря, наш маршрут составлен японскими писателями, у нас для каждого дома есть письмо. Наш маршрут неизвестен полиции, полиция следит за нами в расстоянии версты. Поэтому нас встречают везде очень сердечно. Но через полчаса после нашего прихода в ворота вползает ину, собака, хозяин куда-то уходит. — И сейчас же между нами и хозяином вырастает стена. Мне не говорят н е т, но понятно, что оставаться здесь уже нельзя. И мы идем дальше. Тития-сан оставил нас ночевать.

Вчера мы были в городе Комуро, туда мы ехали целый день горной железной дорогой. Мы остановились в гостинице Ямасирокан — Горный Замок, гостиница стоит на развалинах замка, в вечерней ясности дымился вдалеке вулкан. Ходили к человеку, к которому было рекомендательное письмо от писателя Симадзаки, к местному корреспонденту токийских газет: не застали дома, — в пожарном депо в городке он развешивал картины, устраивал выставку. Назавтра в городке празднества в честь их прежнего феодала, фамилия феодала виконт Макино; выставка приурочивалась к празднествам. Пошли, поехали на выставку на рикшах (причем говорить р и к ш а — неправильно: надо говорить к у р у м а). Там нас поили японским без сахара и совершенно зеленым чаем. Заходили на почту: все почты на Земном Шаре, должно быть, пахнут одинаково — сургучом и чиновничеством, и за стеной должен стучать Морзэ. Шли по тихим уличкам, по удивительной этой японской тишине падающих с гор ручьев, вышли на дорогу к вулкану, куда ходят молиться. Любовались на ряженых трубачей, возвещавших о программе в кино. Вернулись в гостиницу, в развалины замка. Феодал виконт Макино — приехал с вечера, остановился в той же гостинице, где и мы, — на развалинах того самого замка, со стен которого — так недавно — семьдесят лет

тому назад правили округом его отцы: в душе его я не копался. Прислужница, которая оказалась женщиной с высшим образованием, филологичкой, бегала от нас к нему и рассказывала: — —«пошел в бочку — приказал подать ужин, сакэ — — — его жена потребовала себе пирамидона, очень разболелась голова».

Феодал будет завтра на общественном молении и на выставке, — затем он уедет в Токио, чтобы вернуться сюда через год.

По обычаю японских гостиниц, нам дали гостиничные кимоно, — и по обычаю японцев — не мыть руки и лицо, а мыться с ног до головы, и мыться мужчинам и женщинам вместе, — мы пошли в бочку, вода в которой градусов в сорок пять по Реомюру: тем полотенцем, которым надо утираться, японцы моются. Вымылись, — наша прислужница забегала к нам в ванну, чтобы сказать, как хорошо поет феодал. — В нашей комнате мы раздвинули сьодзи, — за стеной замка, под обрывом расстилалась долина, небо очерчивалось горным хребтом, в долине и по горам горели электрические огни, — и только в Японии мною виденная, была прозрачность синего воздуха, такая синяя прозрачность, которая уничтожает перспективы, лаковая синь, лаковая прозрачность. Во мраке пели птицы, и из-за угла гостиницы, с развалин наугольной башни, долетали слова женщины очень нежные. По-японски, в кимоно, мы сидели на полу, — нам принесли ужин: сырой рыбы, супа из ракушек, маринованной редьки, рису, сакэ — японскую водку. Приходил фотограф от местной газеты, фотографировал. — Затем прислужница приносила громаднейшие папки бумаги, где расписывались все знаменитые гости этой гостиницы, — она показала нам танки, только-что написанные феодалом, — мы должны были написать в этой книге. И тогда нам принесли постилки и ватные, ночные кимоно. Всю ночь

пели птицы, в прозрачной сини было видно, как дымит вулкан, села роса, и долго не смолкал женский голос.

Утром бродили по замку; на плацдарме ныне теннисная площадка, забитая детворой; — рисовые склады, богатство феодалов, развалины. Когда с тобою говорят без н е т, тогда и д а кажется неубедительным. Ужасно, когда ты не понимаешь, что с тобою творится и что с тобою будет, — и когда твоя воля обессилена. Полиция уже была и успела нагадить.

Тогда приходит крестьянин и просит к себе в дом: его дом стоит триста лет, его род всегда был родом слуг вассала, — и мне показывают саблю, которой шестьсот лет, родовую саблю; в этот дом мы входим по всем японским правилам, скинув на пороге башмаки, поклонившись в ноги хозяину и женщинам, которые так же в ноги кланяются нам, — и прежде, чем осмотреть этот крестьянский дом, которому триста лет, на полу мы садимся за чай, за чайную церемонию; — священнейшее в доме и фундаментальнейшее — то место, где хранится рис; ни коров, ни лошадей в крестьянском хозяйстве нет, и нет стойл для них; — на кухне дым от хибати идет в потолок, — но мне принесли книгу, чтобы я расписался в ней. — Полиция пришла следом за нами, — выросла стена, в которой н е т подразумевается, я ничего не понял, мы ушли. — Наш интеллигент больше уже не показывался, занятый на выставке. Опять пили чай, на выставке смотрели картины.

И оттуда пошли старым самурайским шоссе, в солнце и ветре и в запахе сосен, — в деревню Осато, к писателю-крестьянину Тития-сан. Поля обложены плотинами из камней, — поля для риса, выверенные по ватерпасу и охоленные руками. Многие нас обогнали велосипедисты, и однажды — мы обогнали — корову, запряженную в двуколку. Полиция обогнала нас по дороге к Тития-сан, и, все же, он принял нас, молчаливый человек с лицом

философа и с руками рабочего. Мы поклонились его дому. Он провел нас в лучшую комнату. По дороге туда я расспрашивал про деревню Осато, — там 650 домов, 3 500 человек жителей, 3 школы — первоначальная, реальное, гимназия, дети учатся вместе, шелкопрядильная фабрика, мыловаренный завод (причем мыло производится из личинок шелкопряда), — медоводство, — кролиководство, — электричество. — Везде, везде в Японии в домах и на дворах абсолютная чистота. В Японии не стыдятся естественных отправлений человеческого организма, и посреди двора Тития-сан красовался эмалированный писсуар, чтобы собирать мочу для удобрений.

Полиция опередила нас. Тития-сан принял нас. Остаток дня мы бродили по полям вокруг Осато, на кладбище, около храмов, у водопада. Попрежнему дымил вдали вулкан. Люди проходили мимо меня, считая меня пустым местом.

И очень странный, должно быть единственный в моей жизни, был у меня вечер. Мы — Тития-сан, Сигэмори-сан, Канэда-сан и я — мы сидели в доме Тития-сан у хибати, — Сигэмори-сан и Канэда сан — японские писатели, мои друзья, поехавшие со мною. Тития-сан был непонятен мне, как все японцы, которых я не умею понимать сразу. Мы говорили с ним через переводы Канэда и Сигэмори. Мы пили сакэ. Японцы после третьей чашечки сакэ жутко багровеют, и их глаза наливаются кровью. Тития-сан показывал свои фотографии, книги и альбомы, где на память ему писали его друзья — художники и писатели. Все было так, как должно было быть в Японии. И тогда в торжественности и строгости, в жестокости глаз, налитых кровью, Тития-сан сказал такое, что я не понял сразу. Сигэмори и Канэда перевели мне: —

— — Отец Тития-сан был убит русскими, в Мукдене, в Русско-японскую войну. — И тогда, мальчиком, Тития-

сан поклялся отомстить за отца первому русскому, которого он встретит, — убить первого русского, которого он встретит. — И первым русским, которого он встретил, был — я, он должен был убить меня. Но он, Тития-сан, — писатель, — и я — писатель. Он, Тития-сан, знает, что братство искусства — над кровью. И он предлагает мне выпить с ним братски сакэ, по японскому обычаю поменявшись чашечками, — в память того, что он, Тития-сан, нарушил клятву. — —

— — не хорошо прийти в дом, в тот дом, где твои соотечественники убили человека... — я проснулся на рассвете под пение петухов, в доме Тития-сан. Вчера я написал Тития-сану — кисточкой, тушью — какэмоно [1] о наднациональных культурах и о братстве, — а сейчас в этот соловьиный рассвет я думал о том, почему соловьиный этот рассвет похож на наш русский, — но говорим мы, люди, по-разному, когда птицы говорят одинаково...

Я тихо поднялся, раздвинул сьодзи: над землей творился фарфоровый японский рассвет, роса тяжелыми гроздями умыла цветущее дерево магнолии, и магнолии пахнули, как подобает, мертвецами. В кимоно, я всунул босые ноги в гэта, в деревянные скамеечки, на которых ходят японцы, и — один, без друзей и полиции, пошел к горам повстречаться с рассветом. Рядом шумел ручей, внизу, под обрывами клокотала река. Каменной лесенкой я пришел в рощицу азалий, сгорающих красною тяжестью своих цветов. Каменная тропинка вела на кладбище. За мной никто не следил, кажется, единственный раз в Японии. Вдалеке дымился вулкан, направо и налево уходили горы, рядом со мною были рисовые поля. И глубокая была тишина. На кладбище в печали я смотрел на мисочку с рисом и на палочки, которыми едят, положенными

[1] Японское стенное украшение.

около могилы, — и около другой могилы лежал ошейник: японцы хоронят и людей и животных вместе. Кладбище заросло печалью бамбуков. Около кладбища стоял храмик — величиной с нашу собачью будку, не больше. Я посидел у храма, покурил и пошел дальше, к платановой роще без дороги, кустарниками. И там я увидал таинственнейшее в природе человека: в чаще деревьев около храмика стояла женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Она молилась, какому богу — я тогда не знал. Я понял, что я присутствую при таинственнейшем. Я не стал мешать женщине, этой женщине в бабочкоподобном оби, японском поясе, на деревянных скамеечках, с непонятною для меня красотою лица. — И тогда еще я думал, что надо написать рассказ, как Япония — затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший, что ли:— всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, — я видел фантастику быта, будней, людей — и ничего не понимал, не мог понять и осмыслить, — и понимал, что вот эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, — тем ли, что у нее на самом деле есть большие тайны, — или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты. Та тема, которую ставили себе все писатели, побывавшие в Японии, тема о неслиянности душ Востока и Запада, о том, как человек Запада засасывается Востоком, деформируется, заболевает болезнью, имя которой «фебрис ориентис», что ли, — и все же выкидывается впоследствии Востоком, — эта тема была очередною и у меня.

Потом, после того рассвета, были еще дни в солнце, ветре, в цветущей земле, — в пути по горам и в бегах от полиции. Все эти дни я жил, пил и ел по-японски, — и все эти дни я хотел по-японски думать и видеть. — Горные

тропинки и горные трактиры — всегда прекрасны. У Янагисава-сан мы рассматривали японскую старину, и он подарил мне наконечники от древних стрел, еще айноских, кремневых, — и он водил меня на свои раскопки, к памятнику айну, древнего народа, населявшего Японию: там были солнце, сосны и бодрый с океана ветер. — И он же показывал мне вишневое карликовое дерево, в пол-аршина величиною и в десятки лет от роду. — Очень долго, тоннелями, мостами через пропасти, прекраснейшими пейзажами — от заполдней до вечера поездом — мы ехали в Камисуа, к минеральным источникам, к гейзерам. Все было, как следует: на станции встретил шпик, сопровождавший ину передал нас ему; — в гостинице было много народу; — из гостиницы, когда открыты сьодзи, видны бассейны, где купаются люди в воде, выброшенной гейзером, мужчины и женщины, ничем не разделенные. За день было очень много солнца, пути и раздумий, — и мы заснули под рожок продавца бэнто, ужина для бедняков, и под пение за стеной гейш. Утром мы ели рис, суп из морских водорослей и соленые сливы. Опять, как всегда, была сумятица, когда гадит полиция и когда не говорят н е т, которое надо подразумевать. Предполагалось, что с самого раннего утра мы поедем в горы, к хуторянину, на шелководческую плантацию, — и время потащилось клячей. Я ходил бриться и на выставку местной промышленности (в Японии — на каждом перекрестке и к каждому случаю — выставки), смотрел на выставке, как бегает игрушечная железная электрическая дорога. А когда вернулся, меня уже ждала машина с врачом одной из местных шелкопрядильных фабрик.

Мимо озера мы поехали на фабрику. Как подобает, нас поили в конторе чаем.

Шелкопрядильное производство, выварка и размотка коконов, скручивание прядей — общеизвестны. Нигде

нет такой чистоты, как в Японии, — и абсолютная чистота была на этой фабрике, куда работницы и мы входили, сняв башмаки, в одних чулках: — и на фабрике, на всей фабрике не было н и о д н о г о места, где человек был бы хоть на момент один сам с собою, — уборные построены посреди двора и так, что там все видно: — это и потому, что у японцев не стыдятся физических человеческих отправлений, и к тому, чтоб прядильщица не могла побыть одной, не могла б потихоньку прочитать и написать письма, ибо все письма, приходящие из-за фабричного забора, перлюстрируются, ибо без разрешения администрации нельзя выйти за забор, ибо эта японская фабрика больше походила на тюрьму, где девушки запроданы на два, три года. Прядильщицы сами о себе поют такую песню:

> Если можно назвать прядильщицу человеком,
> то и телеграфный столб может расцвести — —

но дело сейчас не в этом. Полиция опоздала, прозевала нас. И тогда началась сумятица. Зарявкал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой, не в той, где ночевали, гостинице, и тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики; — мы совершенно недавно завтракали, а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было, — и, кроме нас, за столом на полу оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал, а вежливость мне не позволяла перейти на истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно, — и во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу (к озеру) фотографироваться. — —

И все это кончилось тем, что меня замертво везли на вокзал; в поезд, в Токио, — и, мучась отчаяннейшими

болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, мне кажется, но утверждать я не могу, что меня отравила японская полиция, чтобы ликвидировать мною настырность в поисках деревенской Японии и японского быта, ключей к нему, — но так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может заболачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкою из квасной бутылки; помнная Киплинга, я думал о том, что никогда человек Запада не проникнет в душу человека Востока, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота.

Так закончилась моя поездка на Синсю.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1. ВУЛКАНЫ

В учебниках строения Земного Шара сказано, что Японский архипелаг являет собою две складки вулканических цепей, пересекающие друг друга, из которых одна идет со дна океана, другая — с Курильских островов, и что не исключена возможность, если обе эти вулканические системы будут действовать одновременно, — не исключена возможность того, что весь Японский архипелаг в громе (или, точнее, б е з з в у ч и и) землетрясений и вулканических извержений — и с ч е з н е т с л и к а з е м л и, провалится в море, — исчезнув, возникнет где-нибудь в океане новыми островами. Я сказал — в б е з з в у ч и и землетрясения: министр Патэк, который рассказывал мне о землетрясении 1923 года [1], пережитом им в Иокогаме, говорил мне, что он не слыхал шума, т а к о н б ы л в е л и к, и когда он говорил со своим лакеем, он видел, что губы лакея двигались кинематографически. В эти дни землетрясения, продолжавшегося четверть часа, на одной из площадей Токио умерло, сгорело, задохлось в дыму — сорок тысяч человек. Министр Патэк говорил мне, что самым страшным в первый момент было то, что он, человек, министр, шедший со своим лакеем, вдруг почувствовал, как потерялась его воля: не кто-нибудь иной, а госпожа земля — кинула

[1] См. глоссу I Р. Кима.

его вверх, тряхнула об стену, швырнула к другой стене. Тогда, на токийской площади, люди сгорали и задыхались в течение трех дней — —

— — я должен тут перебить себя, чтобы не возвращаться к этому впоследствии; должен сказать немногое, что нужно мне для дальнейшего. Министр Патэк говорил мне, что первое движение японцев, которое было в момент землетрясения, это было — не двигаться. В Иокогаме разорвало плотины, вода из моря полезла на землю, вода из озер заливала парки, нефть из цистерн горела на воде, был такой шум, что для человеческого уха он превратился в беззвучие. Министр Патэк потерял своего лакея. Тогда пришла ночь, полыхающая невероятными заревами. Министр Патэк оказался в одном из парков, по грудь в воде. Там он встретил — забыл — нето английского, нето германского посла: жизнь есть жизнь, и по грудь в воде, посол и министр вели соответствующие их рангу разговоры и возмущались обстоятельствами. Так вот той ночью между огней, по шею в воде, со своими бумажными фонариками, ходили люди, выкрикивая:

— Люди, кто может сказать о таком-то или таком-то, там-то работающем, принадлежащем к такому-то роду и носящем такое-то священное имя — —

— — так одни разыскивали других, дети отцов, отцы детей. И при министре Патэке, так выкрикивая, отец нашел свою дочь. Они не бросились друг другу в объятья, — нет, — они поклонились друг другу тем глубоким поклоном, которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ, они поздравили друг друга добрым вечером, они не коснулись друг друга. Первым движением японцев в землетрясение было — не двигаться, осмотреться, решить, организовать нервы. Те сорок тысяч, что погибли на одной

из токийских площадей, погибли так: вокруг горели кварталы, их засыпало горящими галками, они стлевали в огне, — пожар кварталов съедал весь кислород, люди обугливались от сжигающего жара. Кругом горели кварталы, людям некуда было уйти. Когда, после пожаров, оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы умерли, обуглились в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами, — живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организованно, обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел — спасали детей. Люди обугливались стоя, никуда не бежав. — Эта выписка в скобках — понятна в дальнейшем. — —

— — Министр Патэк видел, как, в беззвучии кинематографа, многоэтажные дома раскалывались, рассыпались, падали вниз, и из этих расколов, из щелей летели люди, кастрюли, несгораемые ящики, рояли, куски людей..

Япония еще не окончательно отлила свои формы. Восточные ее берега все время поднимаются, западные — уходят в море. В Токио, в Асакуса, там, где стоит храм Каннон, на памяти человечества было морское дно. Мне показывали деревушку, домики которой наполовину стоят в воде, домики не разрушены, как музейный обиход: десяток лет тому назад они были простой деревушкой, земля под ними уходит. Фудзи-сан, гора, о которой знает каждый человек в мире, и она каждое десятилетие меняет свои очертания. Земля японских островов, тех островов, на которых живет тысячелетний народ, брат греков, — эта земля — движется всегда, постоянно, каждую минуту, — эта земля сотрясается грохотом вулканов, на эту землю в эти грохоты вулканов набрасываются волны океана, чтобы дать новый кусок земли или отнять. На этой земле живет тысячелетний народ: о легендах

этого народа, связанных с тем, что их земля д в и ж е т с я, — не место здесь говорить. — Я летал над Японией от Токио до Осака. Все знают, что Японский архипелаг — красивейшее в мире место, красивейшего моря, красивейших гор, дорог, пагод, храмов, пейзажей, зеленей, голубизн, оранжевостей, тишины: все это совершенно верно. Но я видел Японию по-другому: оттуда, из высот, с трех тысяч метров над землей, было видно, как эти японские горы выпирают из голубого моря, черный, злой камень, или вылезший из глубин помимо его воли, или — тоже помимо воли — просыпанный с неба: камень, камень, камень — злой камень, не нахожу другого слова. Там, в высотах, мы угодили в воздушную бурю, а над землей под нами шли тучи, дожди и молнии. И было так, что на какие-то минуты (минуты в воздухе — часами) земля исчезла из-под нас; и затем земля вырвалась из облаков: и я увидел, какая это с т р а ш н а я з е м л я, изорванная обрывами и водопадами, разметанная камнями, лысыми вершинами, — это была с т р а ш н а я, з л о б н а я, желтая земля, желтая, как лицо иссохшего старика-японца. Один — не помню кто — француз-писатель недоумевал, как у этого солнечного, всегда приветливо улыбающегося народа, народа, создавшего женщину, подобную мотыльку, — как у этого народа могут быть такие страшные, чортоподобные, ужасные боги, покоящиеся в их храмах, — тем паче (прибавлю к французу от себя), что каждый умерший в Японии переселяется в полубогов. — Метафизикой я не занимаюсь, но знаю, что тогда эта страшная земля из-за туч, в громе молний, сверкающих внизу, — была совершенно похожа, — была судорогой чортоподобных японских богов, страшная, ужасная земля.

...23 марта в три часа двадцать минут я впервые испытал землетрясение. Было все очень просто. Был подземный толчок, чуть качнулся, заскрипел и зазвенел стеклами

дом, чуть качнулись вещи на моем столе, чуть качнуло меня. — — За все недели и месяцы моего пребывания в Японии очень и очень многие разговоры, которые велись со мною японцами, начинались фразами: — «а вот, до землетрясения — — а вот, когда было землетрясение — — а вот, после землетрясения» — — точно землетрясения суть исторические эры. Да так, в сущности, и есть для японцев. — Да, у японцев — колоссальная организованность и работоспособность, ибо мне говорили, что большая половина Токио была сравнена с землей, я же видел огромный город, тесно застроенный и напряженно работающий. Но дело не в этом. Тогда, 23 марта, я принял землетрясение не в плане поломанных костей и сожженного человеческого мяса. Тогда, в ту минуту, когда меня толкнуло не чем иным, как госпожей землей, не остывшей еще от космических действий землей, — я почуял на момент свое прикосновение к космосу, к тому великому и незнаемому и таинственному, что именуется З е м л я, что именуется космическими силами. И мне стало торжественно. Я — бессилен перед гражданином космосом, — но космос — был у меня в гостях, это он толкает меня сейчас, это я — участник, пусть пассивный, космических работ... Позднее, бродя по Японии, у источников горячих ключей, около гейзеров, наблюдая за дымом вулканов, я всегда торжественно думал о космосе, не застывшем еще для этих островов.

Но землетрясений было еще много. Однажды нас тряхнуло на улице Коганэи, куда мы большой компанией японских писателей поехали на праздник цветения вишни; мы шли по улочке, — и вдруг вся улочка качнулась в моих глазах справа налево, сверху вниз, очень похоже на то, как получается на фотографических снимках, если, снимая, толкнули аппарат, — и ноги мои заплелись в беспомощности; правда, у толпы первым движением

было — не двигаться; — зазвенела и посыпалась посуда в соседней лавочке; — черные, пуговицами, вишенки глаз семилетней девочки раскосились в страшной, недетской сосредоточенности. — Раза три землетрясение приходило ночью, заставая меня в постели.

И вот, каждое новое землетрясение — никак не приучивало меня к себе, никак не позволяло мне привыкнуть к ним, с каждым новым землетрясением все меньше было торжественности в мыслях о космосе, — и уже не от мозгов, а со спины, от позвонка приходил — совершенно обыкновенный страх, — очень похожий на тот страх смерти, который приходит к человеку в дни неврастении, космический страх — перед этим «гражданином» космосом, с которым ничего не поделаешь и который каждую минуту может тебя так тряхануть, что ты вместе со всей Японией не найдешь себе места во вселенной. —

Я жил в Японии — месяцы, — но японский народ живет по соседству с этим космосом — тысячелетья: стало быть, должен привыкнуть к нему и привыкнул?— стало быть, научился бороться с ним, обходить его, приспособлять к нему свой быт; ломаные кости и испепеленные, обугленные человеческие десятки тысяч — не даются даром; весь легендарный мир японского народа упирается в землетрясения, — знает ли об этом японский народ?.. — легенды японского народа о божественности его происхождения — рождены: вулканами. — Социологам надо иной раз посидеть на краешке кратера дымящегося вулкана, посматривать в космическую дыру кратера и — никак не поплевывать на социологию, порождаемую вулканами.

2. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, СПРАВКА

Япония — страна, лучше всего опровергающая теории Шпенглера, ибо эта страна существует уже тысячи лет, сверстница Греции, племянница Ассирии и Египта.

3. ДВЕ ДУШИ ПРИНЦИПОВ «НАОБОРОТА»

Мы вливаемся в потоки людей, в шумиху улиц, звонки, крики, выкрики, тесноту. Шумиха улицы впирает нас под крыши вокзала, в перроны, в загородки у касс. Пригородный поезд высыпает из вагонов шумы гэта, разменивает людей. Вагоны полны. Это час, когда вышли вторые выпуски газет, — поезд трогает, и вагон затихает в поспешном шелесте газетных листов. Толпа в национальных костюмах, люди оставили гэта под скамьями, с ногами забрались на скамьи, и вагон шелестит газетными листами: невозможно представить рязанского крестьянина в национальном гречневике и с газетой. — Поезд мчит стремительно, движимый электричеством. — А за окнами, в солнце, в пестряди — те шалаши, которые называются японскими домиками, которым тысячелетье от роду и которые закутаны тесной сетью электрических, радийных, телефонных и прочих проводов. Мы едем в Токио-фука, примерно в наш Серебряный бор, к писателю Акита-сан [1]. Мы слезаем, нас разменивает вокзал. Нас везет рикша в лакированной колясочке на дутых шинах, на рикше халатик, раздувающийся по ветру, на спине халатика — красный круг, герб его цеха (у всех рабочих такие халатики, и у всех на спине знаки, гербы их цехов и фирм). Улочками с трудом разъезжаются два рикши, фонари висят над головами, рябит в глазах от лака и золота вывесок, — тысячи велосипедистов, кажется, срослись со своими велосипедами. Мой рикша звонит в свой никелированный звонок. Затем мы идем пешком, мимо столетних деревьев, мимо храма, в воротах которого корчат страшнейшие рожи чортоподобные боги, а из чайного домика у ворот слышится музыка сямисена и пение гейши. Наконец мы приходим к домику Акита-сан, мы откры-

[1] См. глоссу II

ваем решетчатую калитку, и мой спутник, писатель Канэда-сан, говорящий со мною по-русски, — приветствует по-японски дом. Нам навстречу выходит девушка. Она падает на колени перед нами. Канэда-сан падает перед нею на колени, они приветствуют друг друга, — а я стою в растерянности, не зная, пасть мне на колени, или, вообще, что делать. — (Впоследствии я научился падать на колени.) — Мы снимаем наши башмаки и в одних чулках входим в домик, в этот таинственный японский домик, где стены сделаны из провощенной бумаги, — сьодзи, — и эти сьодзи раздвигаются так, что у домика можно убрать все стены, — где нет никакой мебели, пустые комнаты с хибати — камельком, никогда не потухающим, посреди комнаты и с какэмоно—картиною в священном углу. Девушка вновь кланяется нам в ноги. Канэда-сан говорит мне, что это дочь Акита-сан. По лесенке, стоящей почти отвесно, мы поднимаемся во второй этаж, в кабинет Акита-сан. Этот кабинет таков величиною, что пятерым там на полу лечь уже трудно. Стен в кабинете нет — все они до потолка завалены книгами. Акита-сан сидит около хибати, греет над тлеющими углями свои руки, — кажется, он сидит зарытым в книги, и вот-вот книги его закопают в себе. Канэда-сан кланяется ему по-японски, земным поклоном, — мне Акита-сан по-европейски дает руку. Акита-сан — один из крупных японских писателей, драматург и поэт и философ. К нам вползает его дочь, вновь кланяется в землю, она похожа на кролика, потому что ноги ее все время подогнуты, чтобы ей пасть на колени, у нее — ни одного некруглого движения. На полу перед нами она расставляет чашечки с японским чаем и уходит, пятясь к лестнице. Мы сидим на полу около хибати, грея над хибати руки, курим и пьем этот пустой чай, от двух чашек которого начинается сердцебиение. Хибати — это глиняная корчага, доверху насыпанная золой, в золе тлеют никогда не стухающие угли; — хибати — единственный способ отопления, — хибати сохранился от веков, от тысячелетья, от кочевий. Акита-сан показывает прекраснейшие книги, японские и европейские. Он показывает мне книги Арисима-сан, его автографы, крупнейшего японского писателя, разрешившего узлы своей жизни—смертью, повесившегося вместе сосвоей любовницей, чужою женою. Канэда-сан передает мне содержание последней поэмы Акита-сан—«о лютых законах»:

... Лютые законы, глумящиеся над истиной,
Низвергнуть время настало!
Эй, поднимайтесь, смелее, рабочие, —
Наша победа близка!.. — —

— — в чем дело? — кто сидит передо мною, около хибати, на полу, в этом шалаше, заваленном книгами?!.— — — на утро, на следующий день Акита-сан заехал за мною, чтобы вместе пойти в Цукидзи театр, в театр Осанаи-сана. С Акита-саном пришла молодая девушка в английском выходном костюме. Она первая поклонилась мне и протянула руку, — «лэдис фёрст!» — она заговорила по-английски, европеянка. Я смотрел недоуменно: я не узнал в ней той самой девушки, которая вчера кланялась мне в ноги и подавала белый чай. Акита-сан был в бархатном пиджаке с большим черным бантом, как часто европейские художники.

...Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии? — какими силами? — Говорят, что сердцем Япония — в старом, умом — в новом. Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, — каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу уменье принять все новое? Воля японского народа звучит костяным шумом гэта.

На глаз европейца, сына западной культуры, вся страна, весь быт и обычаи японского народа построены по принципу — «наоборот»,— наоборот тому, что принято в Европе. Я ниже пишу о маршале Ноги: в Японии почетно самоубийство, в Европе оно почитается позором. В Европе женщина — по крайней мере в идеалах — впереди, в Японии — позади. В Европе говорят: «гражданин Петр Иванов, мистер Стивен Грээм», — в Японии сначала фамилия, потом имя, потом «сан». Тот жест, которым в Европе говорят «уходи от меня», в Японии является жестом «подойди ко мне». В Европе пишут слева направо горизонтальными линиями, в Японии пишут справа налево вертикальными линиями. В Европе в опасных и неприятных случаях лицо делается сумрачным и натянутым, — в Японии в этих случаях смеются и улыбаются; когда европеец задумывается, сосредоточивается, его лицо делается умнее, осмысленней, — когда думает японец, на глаз европейца лицо его становится идиотственным. О настроении европейца и о состоянии его духа всегда можно узнать по его лицу, — лицо японца никогда не скажет об этом, не выдаст японца, — о состоянии духа японца можно узнать по его рукам, по их движениям, — руки европейца ни о чем не говорят. Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, европейцы строгают фуганком, двигая его от себя. У нас, если очень рассердятся, покроют матом, даже на английском языке, — у японцев самый высший вид оскорбления сказать — вежливейше — о том, что «я так глуп, что не могу понять моего собеседника», — дескать, собеседник тратит время на разговор с дураком. Все это примеры полуанекдотического характера. Но вот пример уже без всяких анекдотов. Психика европейца построена на утверждении будущего, строительстве будущего,—психика японского народа построена на утверждении прошлого, этот их культ почитания предков, делающий страну страною мертвецов, страною, где командуют мертвецы, — где поэтому студенты Токийского университета в анкете на вопрос, как они мыслят свое жизненное назначение, в подавляющем большинстве ответили, что они социалисты и они хотят народить детей, достойных их предков, — где, как известно из любой книжки о Японии, самым чтимым являются дети, эта переходная ступень к отмиранию, где смерть почетна, как рождение. Психика японского народа построена на утверждении смерти, страна, управляемая мертвецами, — тем непонятнее, как эта страна нашла силы справиться с Европой. —

...Япония презирает боязнь индивидуальной смерти: те военнопленные, которые вернулись после Русско-японской войны на родину, были преданы — презрению, — эти, «не сумевшие найти времени распороть себе живот», — от них отказались их семьи. Как известно, в шестнадцатом веке в Японию проникло христианство, которое было там запрещено: христиан узнавали просто, — подозреваемым предлагали пройти по образу богоматери со Христом, — и христиане отказывались итти по образу Христа, тогда их душили, распинали, или бросали в кратеры вулканов; к слову сказать, — о жестокости: во Владивостоке японцы, в том же двадцатом году, бросали русских коммунистов — в паровозные топки. — В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, — но там есть целая наука, называемая Синоби, или Ниндзюцу [1], — наука незамеченным залезать в дома, в лагери противника, шпионить, соглядатайствовать (поэтому, в скобках, пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих

[1] См. глоссу III.

чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит) — и здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей — обязательно государственный шпион.

4. *ХАРАКИРИ* [1].

Я был в доме маршала Ноги, в том доме, где он вместе с женою сделал себе харакири, — в том доме, около которого теперь храм маршала Ноги. Этот дом теперь — достояние музеев, — храм около дома — достояние молящихся, — Ноги — национальный герой. Имя Ноги известно в России, ибо это один из маршалов, побивших Россию. — Таинственная, непонятная история! — перечитайте Гончарова. Маленькая страна, населенная смешными людьми с веерами, живущими в домах без столов и стен, поедающими рис и кузнечиков палочками, отожествляющими душу мужчины с цветком вишни, — страна, которая на глаз европейца всеми своими красивостями кажется театральной декорацией, да еще такой, которую видишь сквозь бинокль, приставленный к глазам той стороной, которая уменьшает. У Японии была фантастичнейшая эпоха, когда с начала семнадцатого века на два с половиной столетья до средины девятнадцатого — Япония заперлась для внешнего мира. В те столетия, когда Земной Шар пошел колесить океанами, Япония жила при двух монархах, при бессильных и божественных микадо и при всесильных и земных сьогунах Токугава, запертая на своих островах, консервируя свои тысячелетья, свой феодализм, свои храмы и своих самураев. Все это было семьдесят лет тому назад, когда американский коммодор Перри пушками, а русский адмирал Путятин страхом своей эскадры (с Путятиным был и Гончаров) впервые «отперли» для мира Японию. Эпоха затворничества называется эпохой Токугавы, — эпоха вы-

[1] См. глоссу IV.

хода в мир называется эпохой Мэйдзи. Императором Муцухито был уничтожен сьогунат и феодализм, была дана конституция, были построены дредноуты, были побиты мы. Эту эпоху японцы называют — эпохой реставрации, — в плане западно-европейских понятий ее следует считать революционной эпохой. Одним из ближайших сподвижников микадо был маршал Ноги. В дни, когда умер император Муцухито, переименовавшись после смерти в Мэйдзи, накануне похорон, — маршал Ноги совместно со своей женой сделал себе харакири, это было в 1912 году. — Утром в тот день, вышед со своего Акасака, Хиноки-тьо,—року-бантьо (мой токийский адрес), я пошел на выставку флагов, бестолковую, по-моему, выставку, ибо — какой интерес смотреть бумажные флаги всех национальностей мира, которые я помню еще с детских рождественских елок — ?! — Обратно я проходил мимо парка и переулочка, ведущего в парк, так же, как у нас на Пречистенках в особняки. Я пошел туда. Там стоит небольшой домик, по-нашему вроде тех, где по уездам живут земские врачи и агрономы. Там вокруг дома проложена галлерейка, откуда видна внутренность дома. На взгляд европейца — это пустой дом: ни одного стола, ни одного стула, пол покрыт татами (циновками), какэмоно на стене, туалетный столик в комнате жены, такой, перед которым надо одеваться, сидя на полу, письменный стол маршала, такой, за которым надо писать, сидя на полу, — и все, больше ничего. В угловой комнате указаны места, где сидел маршал и его жена в момент, когда они сделали себе харакири. Там в углу трубкой свернуты циновки, залитые кровью маршала и его жены. Они перед смертью сидели на полу посреди комнаты, около хибати. — Маршал и его жена перед смертью написали танки. Быль жизни маршала Ноги и его смерть — суть экстракт понятий японского народа о чести и правильности жизни, —

маршал Ноги — национальный герой, патриот и гражданин своей родины. Обстановка его дома, тот быт, в котором он жил, — до аскетизма просты: и до аксетизма проста его смерть, ставшая над смертью. Вокруг дома маршала Ноги растут тенистые деревья, те деревья, которые дают покой нервам, — вишневые деревья (они в Японии величиной с березу), цвет которых есть символ души мужчины: вишневые цветы в Японии делают себе харакири, то-есть особым таким ножом разрезывают себе живот... Я ушел из дома Ноги, из парка, где приютился храм его имени, — малость обалделым.

Все это было утром. К часу приехал профессор Нобориcан [1], и мы поехали на могилы сорока семи самураев. Там, опять под деревьями, стоят камни могил, сорок семь камней. Там бьет из земли ключ, в котором они обмывали отрубленную голову того, из-за которого эти сорок семь «ронинов» сделали себе харакири. Там есть музеек, где помещены остатки одежды этих самураев (у японцев ко всему музей и выставка, в этой стране мертвецов и почитания умерших). Там у могил я не смог долго быть, у меня стала кружиться голова от дыма сандаловых курений, тлеющих перед каждой могилой, от этого синего дыма, которым очень пахнет Япония и от которого следует — на мой нос — задыхаться. Начало этого исторического эпизода с сорока семью самураями мне неизвестно. Середина и конец этого эпизода таковы. Сорок семь самураев поклялись отомстить за своего даймйо, обиженного приближенным сьогуна, причем их даймйо впал в немилость сьогуна, или что-то в этом роде. Двадцать один месяц эти сорок семь человек искали случая убить обидчика их барина, нашли, убили, — и не нашли нужным об этом скрывать, собрались вместе, на будущей своей могиле,

[1] См. глоссу V.

оповестили о своих делах, сдались на милость сьогуна и — все вместе, два месяца спустя, одновременно сделали себе харакири. Теперь они обожествлены. Их смерть — сюжет самурайских гордостей, романов, поэм, драм, кино. Около могил сорока семи самураев — маленькая ярмарчишка. Я там накупил лубков, изданных в память этих обожествленных людей, ставших в понятии национального геройства в ряд с маршалом Ноги.

5. ЙОСИВАРА, ОЙРАН, ГЕЙШИ

Я осматривал публичные дома и притоны — Москвы, Берлина, Лондона, Константинополя, Смирны, Шанхая. И везде в этих публичных домах и притонах одно и то же — окончательное обнажение всего, что принято человеком скрывать и что принято считать европейскою честью. Там, в этих кварталах, главным образом, в алкоголе и — решающе — в похоти, ставшей, как алкоголь, до судороги доведено всяческое издевательство над человеческой личностью, там судорогой бродит испепеляющее проклятье, пороки, мерзость, сифилис и грязь.

И я был в Йосиваре, в районе токийских публичных домов. Йосивара — точный перевод — счастливое поле.

И никогда ничто меня так не ошарашивало, как Йосивара, — совершенной для меня непонятностью. В этом районе все было залито светом, в тесноте улиц шли дети, школьники, что-то покупали и мирно разговаривали, проходили матери, под вишневыми деревьями, в шалашиках торговали продавцы, шли с работы и на работу мужчины. Было совершенно обыкновенно, только больше чем следует свету, только чуть-чуть теснее. И у домов, около хибати, выставленного наружу, грея руки и не спеша, сидели мужчины, посвистывая и пошипывая, те мужчины, у которых можно посмотреть фотографии ойран, проституток. Мы входили во многие дома; без водки,

в тишине, предложив нам разуться (с европейцами, которые часто попадают в Йосивару пьяными, случается часто, что, чтобы не переобуваться каждый раз, они так и шлендрят из одного дома в другой в одних чулках!), — мы разувались, нам в ноги кланялась пожилая женщина, в тишине дома мы проходили в комнату, нам приносили чай, мы садились на пол, — и тогда проходили дзйоро, ойран, абсолютно вежливые, как все японки, совершенно трезвые, тихие, ласковые, улыбающиеся, здоровые.

И вот то, что на улице совершенно обыкновенно ходят дети и торгуют торговцы, что эти женщины не пьяны, нормальны, вежливо-приветливы и здоровы, — это и было окончательно ошарашивающим, вселяющем в мои мозги нечто такое, что мне, европейцу, указывало большую нормальность в смирнских тартушах и берлинских нахтлокалах, чем в Йосиваре.

Только после землетрясения 23 года упразднены празднества Йосивара, когда в Йосивару стекались тысячи людей, женщины из Йосивара, украшенные вишневыми цветами, шли процессией, и всенародно здесь избиралась красивейшая ойран. Но первая лицензия, данная на постройку домов после этого землетрясения, дана была — Йосиваре: тогда шумелось в газетах, и установлено было, что Йосивара — общественно необходима для здоровья нации и для сохранения устоев семьи в первую очередь. Лицензии, выдаваемые государством на право проституции, есть статья государственного дохода, никак не аморальная.

Все народное творчество имеет сюжеты, связанные с Йосиварой, — нет спектакля в классическом театре, где не было бы эпизода из бытия Йосивары. Каждый дом в Йосиваре имеет длинную свою и почтенную историю, свои исторические анналы. Город Фукаока гордится собою — тем, что в нем появилась первая проститутка,

она была самурайкой, могила ее чтится, и на могиле ее каждый год бывают торжества. Спрашивают девочку: — «кем ты хочешь быть?» — и девочка отвечает: — «женщиной из Йосивары!». — Если бы я узнал, что я существую за счет сестры-проститутки, — если бы я не застрелился, то наверняка много бы мучился этим; — если бы я был японцем, я мог бы быть этим горд.

Часть женщин в Йосивару идет по призванию, по склонности, других туда продают отцы и мужья:—потом, выйдя из Йосивары, эти женщины или выходят замуж, или возвращаются к своим мужьям. Это никак не позор — быть женщиной из Йосивары. Проституция очень часто бывает товаром, которым торгуют для поправления бюджета.

Нация позаботилась, чтобы дело проституции было в хорошем состоянии, — частной проституции — нет, проституция огосударствлена, в коридорах висят, в абсолютном порядке, кружки с марганцово-кислым калием, — на выставках выставлены катетры, половые органы из папье-маше, проверенные медицинским надзором и полицией, — частно-практикующим проституткам лицензий на проституцию не выдается, проститутки собраны в Йосиваре (Йосивара — имя собственное, присвоенное району публичных домов Токио, такие же районы, под другими именами, разбросаны по всей Японии).

Но[1] пол всегда упирается в метафизику, и недавно еще кое-где в Японии, при храмах, — были жрицы — божественные проститутки, кадр этих женщин возникал и по призванию и по рождению, — через них люди прикасались к богу. Тай-ю — высший титул проститутки. Буддийский первосвященник, глава Хонгандзи, женатый на принцессе крови, имеющий титул Восседающего на

[1] Абзац написан по справке проф. Е. Г. Спальвина.

Тигровой Шкуре, — имеет право на Тай-ю, — и в регламентные дни Тай-ю приезжает к Восседающему.

Мне кажется, к половому акту японский народ относится, как к естественнейшему и священнейшему делу, никак не позорному. У японского народа до сих пор сохранился фаллический культ.

Писатель Мусякодзи [1], менажируя ан-катр, в печати обсуждал этот менаж, и в печати же выступала его жена.

Со мною был такой случай; собираясь путешествовать в горы, в добродушии сердечном, я пригласил с собою одну мою японскую приятельницу, — и на другой день через переводчика она передала мне, что она согласна поехать со мною в качестве моей любовницы.

Ярчайше выражен в Японии мир мужской половой культуры. Мораль и быт японского народа указывают, что женщина никогда не принадлежит себе: родившись, она есть собственность отца, потом мужа, потом старшего сына. И та женщина, судьба которой судила ей быть матерью, — есть только мать, ибо священнейшее у японского народа — дети. Она не должна крикнуть при родах, на — свадьбе родители ей дарят нож и икру, — икру, чтобы она плодилась, как рыба, — нож, чтобы она знала подчинение мужу, путь от которого — ножом — в смерть. А в те дни, когда она беременна, она ведет мужа в Йосивару. Но женщина может быть бездетна, — тогда это повод или к разводу, или к тому, чтобы — жена же — озаботилась поисками наложницы, мэкакэ: институт мэкакэ жив до сих пор, ряд министерских и парламентских деятелей имеют мэкакэ.

Но у мужчины есть потребность в прекрасном, в вечной женственности, в общении с умной женщиной, с другом-женщиной, товарищем-женщиной, советником, поучителем: тогда он идет к гейше. Института, аналогичного институту гейш, нет в западной культуре. Там, в чайном домике, мужчину встретят прекрасные женщины, они поклонятся ему так, как требует этого большое искусство, они проведут с ним чайную церемонию, они будут с ним весело, беззаботно, остроумно и умно беседовать, — они споют ему старинную песенку, протанцуют тихий и прекрасный танец, они сыграют ему на сямисэне [1] и кото. На пороге чайного домика насыпана горка белой соли, — символ чистоты и целомудрия. Веселые, улыбающиеся, нежные, они нальют и вновь подолют мужчине сакэ, — всяческой грацией уклонившись от своей чашечки. Однажды, узнав, что я человек умственного труда, гейша сделала мне головной массаж: она положила мою голову к себе на колени, мяла и гладила мою голову белыми своими ручками, — и я встал с ее колен помолодевшим. Однажды (ведь японцы всегда и везде фотографируют) в компании японских писателей мы снялись с гейшами. Я положил свою руку на плечо гейше. И наутро я увидел себя в газете — именно так, с рукою на плече женщины. Я было взволновался: — и успокоился, — ибо сняться в такой позе с гейшею — честь, никак не «потеря лица». Гейша дает свою визитную карточку, имена гейш так же чтимы, как имена писателей, — и есть гейши со всеяпонскими именами.

Я прихожу в чайный домик с женою. Там, за домиком, тишина и ночь. Здесь тихо и светло. Мы снимаем свою обувь. Друзья-писатели заказывают ужин, приносят горячее сакэ. Приходят гейши, эти женщины, похожие на цветы. Одна из гейш садится около меня, наливает мне сакэ. Ну, как, как могу говорить я, чужеземец! — я рассматриваю ее руку, она смеется в смущении, прикла-

[1] См. глоссу VI.

[1] Музыкальный инструмент, подобный мандолине.

дывает кулачок к виску, топорщит указательный палец и говорит плутовато, чуть-чуть недоуменно: — «Оку-сан Бируняку-сан», — и усердно топорщит свой пальчик: это значит, что в мою жену вселится злой дух, непонятный гейше, живущий только у европейцев, — дух ревности...

Гейша — это идеальная женщина, женщина мира искусств и красоты и ума, — к гейшам надо итти, чтобы касаться прекрасного. Не менее прекрасны тайны пола, — но это уже не гейши: тогда, после гейш, надо ехать к ойран. И было: — мы были у гейш, с нами была моя жена, мы очень веселились; — мы пели вместе с гейшами, писатели плясали старинные танцы самураев и читали старинные баллады, — и тогда сказали мне, чтоб в следующий раз я не брал жену, ибо такой прекрасный вечер преступно не кончить ойран, старые писатели недовольны.

Быть гейшей — это призвание, и это — на всю жизнь. Быть гейшей — честь, и для того, чтобы быть гейшей, надо учиться с малых лет. Гейша должна иметь не ниже среднего общее образование.

Я был в школе гейш, в такой школе, куда европейцы вообще не проникают. Это было на берегу моря, и море уходило в лиловую тьму. В доме были только гейши, только женщины, молодые, средних лет, старухи, — а на сцене и на дороге цветов были девочки, от пяти лет, — будущие гейши, они танцовали, пели, кланялись, разыгрывали пьеску, — и старшие смотрели на свою молодую армию. Кроме школьной учобы, гейши должны уметь петь, играть на сямисэне, должны изучать чайную церемонию, изучать тайны вязания цветов со всеми их символами, — и должны постичь тайну искусства собеседовать.

Веснами, в дни цветения вишни, этого национального цветка Японии, символа весны и мужской доблести, гейши объезжают все города, знаменитейшие гейши, корпорациями в несколько сот человек, и в этих городах, в лучших театрах ломятся двери от тех, кто хочет посмотреть на действо гейш. О гейшах пишут в газетах. Их имена славны. Великие знаменитейшие гейши влияют на государственную политику. На интимные банкеты государственных деятелей — приглашается не жена, а любимая гейша того, в честь кого дается банкет. Гей-ша — точный перевод: — посвященный искусству.

Многие гейши выходят в замужество, например, государственный деятель эпохи Мэйдзи, принц Ито, был женат на гейше. Иные, кроме патента на гейшество, берут патент на ойран, — тогда до конца дней они остаются в почетной свободной любви, эти единственные свободные женщины,— и в этой свободной любви остаются главным образом талантливые гейши, как и у нас — талантливые актрисы. Институт гейш — очень древен, — и слово г э й - с я — новое слово, ибо оно существует только с токугавской эпохи, ибо раньше гейши назывались с и р а б ь о с и, что значит — белый, чистый тон...

...Это выдумка европейцев, что в японском языке нет слова любовь: есть, в десятке вариантов. И выдумка европейцев, дальше порта не забиравшихся, — нелепица о срочных японских браках: японцы о таких не знают.

Но совершенно не выдумка, что японский народ не стыдится обнаженного тела и естественных отправлений человеческого организма [1]. В Икахо, у сернистых источников, я сидел в бассейне с минеральной водой, — пришли две японки, разделись, омылись и полезли ко мне; однажды я услышал женский писк, присущий только европеянкам, — я пошел расследовать и установил, что к Ольге Сергеевне в ванну собирались лезть мужчины-японцы.

---

[1] См. глоссу VII.

У японцев нет понятия мыть лицо и руки так, как это делаем мы: они каждодневно по несколько раз обмываются с головы до ног, поэтому в каждом доме есть ванна, воду в ванну они наливают такой горячести, что я, например, в такой воде сварился бы, — а, поскольку у японцев все наоборот, вытираются они не сухим полотенцем, а мокрым, тем самым, которым они подпоясываются, оно же служит им и мочалкой. В городах, где никак не убережешься от озорства европейцев, сейчас общественные бани разделены, женщины моются отдельно, но банщики в женских отделениях — мужчины. Уборные в Японии — общие, и помню, как фраппированы были Ольга Сергеевна и миссис Гиршбейн, жена американо-европейского писателя Перетца Гиршбейна, когда в Кобуки-дза театре заместитель Осанаи-сана по Цукидзи театру, Такахаси-сан, приведши их к уборной, со всею вежливостью французского языка предложил им проследовать туда, — «силь-ву-плэ!» —они прошли сквозь строй мужчин к кабинам, — и через минуту Такахаси-сан постучал им, сообщив, что джентльмены (то есть мы) отправляются в ресторан.

До сих пор еще невесту жениху приискивают родители, всячески беря на себя ответственность. Еще так недавно, во времена Токугава, тот нож, который родители давали невесте, был неминуемым порогом из дома мужа, — времена проходят. Вдова называется — умерший человек. Теперь в самурайских и цеховых семьях — этот же нож является порогом и для девушки, раньше воли отца отдавшей другому свое пеломудрие. — Но за городом, в деревнях, до сих пор сохранился праздник пришествия покойников с того мира, Б о н, июльский праздник созревания ячменя. К ночи тогда зажигают на дворах фонарики, чтобы осветить дорогу покойникам. Люди же в поле пляшут в хороводах, в м у г и к о к а с и, в хороводе

«падения ячменя». И эта ночь свободна для совокуплений сельчан, — и если в эту ночь у девушки нет любовника, родители нанимают его, чтобы их дочь не была опозорена нелюбовью, — чтобы дочь их была благословлена любовью. И до сих пор, — утверждает профессор Е. Г. Спальвин, — сохранился в деревнях обычай общего обладания девушкой до брака, когда только после брака она переходит в единоличное обладание мужу, — причем она за это платит обществу «первой ночью», в честь богини Каннон, богини милосердия. — Философия пола у всех народов упирается в метафизику, — и никогда не забуду я фарфоровой тишины рассвета в деревне, на Синсю. В этот фарфоровый рассвет, без шпика, один-одинешенек, должно быть единственный раз так, в кимоно, я вышел со двора крестьянского дома и пошел в горы. Я писал уже об этом: — там, на горе, я увидел храм, в стороне от храма сидел мальчик, — а в чаще деревьев около храма стояла на коленях женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Я увидел таинственнейшее, такое, что редко удается увидать даже японцам, — я видел, как женщина поклонялась фаллосу, — видел таинственнейшее, что есть в природе человека. Мое видение мне разъяснил профессор Йонэкава-сан [1], ибо эти видения у него сохранились от детства, от тех дней, когда мать водила его по храмам его клана, когда мать оставляла его одного, чтобы уединиться для молитвы перед богом чадородия.

Тогда, в тот рассвет, я смотрел на эту женщину, одетую в кимоно, перепоясанную оби, с рудиментами крылышек бабочки на спине, обутую в деревянные скамеечки, — и тогда мне стало ясно, что тысячелетия мира мужской культуры совершенно перевоспитали женщину, не только

[1] См. глоссу VIII.

психологически и в быте, но даже антропологически: даже антропологически тип японской женщины весь в мягкости, в покорности, в красивости, — в медленных движениях и застенчивости, — этот тип женщины, похожей на мотылек красками, на кролика движениями. — Даже жены профессоров, европейски образованных людей, встречали меня на коленях. — О н н а д а й г а к у — великое поучение для женщин — японский домострой — учит навсегда подчиняться отцу, мужу, сыну, — никогда не ревновать, никогда не перечить, никогда не упрекать. И в каждой лавочке продаются три обязьяны, символ женской добродетели: обезьяна, заткнувшая уши; обезьяна, закрывшая глаза; обезьяна, зажавшая рот. Так решили философию пола — буддизм, феодализм, Восток, — и эта философия пола жива до сих пор.

6. ВЕЧЕР НА ХИНОКИ-ТЬО

Январь — месяц тигра, февраль — месяц зайца, март — дракон, апрель — змея, май — лошадь (к слову: о лошадях я проделал своего рода анкету, — спрашивал, кто и сколько раз ездил на лошадях: писатели Канэда-сан и Сигэмори-сан ни разу в жизни не ездили на лошадях, никак, — лошадей в Японии почти нет и почти нет в сельском хозяйстве), июнь — овца, июль — обезьяна, август — петух, сентябрь — собака, октябрь — кабан, ноябрь — крыса, декабрь — бык. Двенадцатилетия годов разделяются так же; 1926 год — год тигра. 1926 — по-европейски: 2586 — по-японски, 15-й год эпохи Тайсьо. Вспомогательными определениями годов являются также стихии огня, земли, воды, металла, дерева. И вот, если женщина родилась в год лошади и огня, она непременно убьет своего мужа той таинственной фатальностью, которая родила ее в это сочетание; в прошлом, 925 году выросли девушки этого призыва, и в газетах крупно обсуждалось,

как с ними поступить, ибо жениться на них — охотников было мало. И целые литературы есть гороскопов, выясняющих удобства и неудобства браков: мужчина, родившийся под знаком огня, имеет огненный характер, женщина, родившаяся под знаком дерева, имеет деревянный характер, — тогда им надо пожениться, ибо из дерева родится огонь; но вода — тушит огонь, — и тогда брак не может состояться... Все эти таинственные комбинации имеют под собою таинственное сочетание пассивных и активных сил.

... Сумерки, Хиноки-тьо, року-бантьо, Токио. Мы сидим вдвоем с профессором Йонэкава-сан, тем профессором, о котором я буду говорить дальше, европейски образованным человеком, и который, провожая однажды Ольгу Сергеевну, на ее предложение зайти посидеть ответил: «наш великий учитель Конфуций не учил нас сидеть вдвоем с женщиной». —

— А философия японского народа? — спрашиваю я его.

— У японского народа не было своей большой философии, — отвечает профессор Йонэкава. — По мнению профессора истории философии Канэко, японский народ из всех философских учений берет практические сентенции. Профессор Канэко считает японской философией философию практицизма. Это один признак. Второй — философическое оправдание каждого индивидуума: стремиться к очищению и опрощению, — философия индивидуализма указывает подавлять страсти, утвердить золотую середину, — разительно в японском народе, по мнению профессора Канэко, отсутствие мистицизма. И еще отличительна у японцев, в национальной японской философии: — их у м н о с т ь, не рационализм, — а умность: японский народ у м е н, — эта особенность является одним из факторов, давших возможность принять Запад и пойти

его путем вперед. Японцы больше годятся для научно-прикладной работы, чем для обобщающе-философской, но Канэко никак не считает честью японского народа отсутствие у него великой философии.

Вечер, Хиноки-тьо, — на стене висит плакат японской живописной выставки, шипит газовая плитка, за окном водянистая муть ночи.

— Синтоизм не имеет одного бога, но много, — ибо источником божественности является поклонение предкам, предки же накапливаются. В памяти японского народа очень много богов, которые только наполовину божественны, наполовину же человечны, человеческого происхождения. Высшее божественное существо — богиня солнца Аматэрасуомиками, она светила миру и шелководствовала. Но в божественность Аматэрасуомиками никто уже не верит. Забот о будущей жизни у японского народа — нет. Надо заботиться — только о настоящем, о живом, чтобы достойно прожить жизнь, быть достойным своих предков, — чтобы приготовить чистоту смерти. — Тысячу двести лет тому назад в Японию проникла буддийская религия. Высшие круги, императорский двор приняли эту религию, сохранив шинтоизм. Но буддизм — не религия, а наука веры. Переводов с китайского буддийских книг не делалось, народ знает о религии из уст священников. Нирвана — стремление к вечному равновесию и покою: — для достижения нирваны надо отказаться от физических прихотей, от самого себя, — через отрицание самого себя — слияние с вечным миром, с вечным духом: наука буддийской религии утверждает эфемерность бытия, непостоянность жизни и твердую каменность жизни.

(Вечер, Хиноки-тьо. — Но по мифологии синто все боги изображались очень страстными, так что один дух погнался за женою, умершей в страстный момент, прямо в загробную жизнь, — мифология шинта жива наряду

с буддизмом. Европейско-христианская мораль учила о вечной активности впереди, мораль Востока учит о вечной пассивности.)

— Буддизм трансформировался сейчас в ряд сект. Крупнейшая — Синсю («настоящая вера»). Родоначальник этой секты учил, что человеческий ум ограничен и не может довести до нирваны, — и надо возлагать надежды на волю Будды, в молитвах — «Наму, Амидабуцу», — одному из предвоплощений Будды. Секта Дзэн избрала путь строгого воплощения, что достигается сидением по-турецки, сосредоточением мыслей до того, пока не останется ни одной мысли; люди секты Дзэн — постятся, аскетят; секта логику буддизма заменяет интуицией; эта секта была популярна среди самураев.

(Вечер, Хиноки-тьо, окончательно померк закат.)

— Но, все же, подлинная, народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма, — Ин-йо-до — учение о пассивной и активной силах. Она связана с синто, она созвучит с китайскими учениями о извечном пассивном и активном. На глаз европейца эта вера состоит из суеверий. Все явления мира этою верой делятся на двоесилия мрака и света, луны и солнца, земли и неба, мужчины и женщины... Метафизика этого учения глубоко вошла в быт. Секта Татикаварю, названная так по имени учителя, запрещенная в эпоху Мэйдзи, здравствующая до сих пор, утверждает, что соединение начал бога Идзанаги и богини Идзанами, активного и пассивного начал (бог Идзанаги, стремясь за Идзанами, семенем своим накапал Японские острова, так говорит предание), — соединение активного и пассивного начал есть высшее достижение нирваны, и путь к ней — путем совокуплений.

...вечер, Хиноки-тьо. Мы прощаемся с Йонэкава-сан, я провожаю его до порога. Над городом лиловое небо

ночных фонарей, неподалеку прошли трубачи, разрекламливающие кинематограф, пропела флейта бэнтошника, человека, играющего в рожок в знак того, что он повез по улицам свою тачку с рисом для бедняков и рабочих, с горячим рисом, который можно тут же купить. И улица замерла в тишине, той тишине, которая есть только в Японии. В доме напротив мои «ину», собаки, мои полицейские, сидели около огня.

Я тихо свернул в переулок и пошел на соседнее кладбище, в его тишину, заброшенность и в печаль кладбищенских размышлений. Японцы сжигают трупы умерших и хоронят только золу, так велит буддизм. У ворот отгорел электрический фонарь, там под деревьями мрак. Знаю, вот против этой могилы стоит мисочка риса и на нее положены хаси — палочки, которыми едят японцы: это для умершего. Знаю, что умершему японцу дается новое имя, то, с которым он отходит в вечность, которым не жил при жизни. Знаю, что к летосчислению жизни каждого японца надо прибавить девять месяцев, ибо днем начала существования человека у японцев считается не день рождения, а день зачатия. И знаю, вон там, за той тропинкой похоронена собака: любимых собак, кошек, лошадей — японцы хоронят вместе с человеком, так же сжигая (и даже человеческие чины дают животным, ибо те быки, которые возят повозку императора, имеют генеральские чины, — иначе они не могут быть при дворе). Я иду по тишине тропинок. И я — ничего не понимаю. Я — европеец, знающий, что маршал Ноги и император Муцухито, умершие столь недавно, уже обожествлены, и в честь их есть храмы, — что человек здесь уравнен с собакою, — что у религии этого народа нет активного будущего, а есть пассивное ничто, то есть нет верования в будущую жизнь, а есть вот такие храмики, такой вели чины, как моя пищущая машинка, — я, европеец, ничего

не понимаю. Мне мои друзья-японцы говорят о том, что религия отмирает, что остались только обычаи, традиции. Мои друзья-европейцы, поражаясь религиозным индифферентизмом японского народа, утверждают, что религия японского народа умерла, или ее никогда и не было — в том плане понятий, как это понимается у нас, — Япония — безрелигиозная нация, нация, у которой умерла религия, но в умирании своем унесшая и живую философическую жизнь японского народа, философически создавшая такое положение, такую страну, где правят мертвецы. И тут, в этом месте, европейцы-идеалисты горячо утверждают, что весь Запад, вся западная культура, окончательно ненужная Японии, враждебная ей, чуждая, — взята японским народом как м а с к а, — японский народ замаскировался на столетье, чтобы броней Запада — этот же Запад откинуть: поэтому, дескать, так болит голова от японской воли, конденсированной в шум гэта, поэтому так ничто не понятно, ничего не прочтешь на лице японца. Я в этих рассуждениях — ничего не понимаю, — но в дебри их я пришел сейчас к тому, чтоб указать ту щель, в которой почерпают европейские писатели материалы для писаний повестей о «метафизической Японии»... В Асакуса, у храма Каннон, всегда много молящихся, и в прохладе храма сидят священнослужители: молящиеся кидают монету и бьют в гонг, чтобы бог услыхал их молитву; гадатели дают такие листочки бумаги, — эти листочки надо привесить к сучьям деревьев около храма, тогда исполнится пророчество. В Уэно-парке стоит памятник генералу Сайго, — так этот памятник нельзя разглядеть: генерал Сайго также обожествлен, и он весь заплеван священными бумажками, — потому что надо написать желание, разжевать бумажку и бросить ею в священный предмет; памятник типичной европейской стройки, поставленный человеку, противившемуся проникновению европейцев в Японию, — оказался священным

предметом. Бог Лисы — богу Лисы можно молиться, чтобы отнять у друга его, друговы, богатства: над Кобэ, в горах, куда надо сначала ехать на автомобиле, затем подниматься на элеваторе и дальше итти бесконечными тропами и лестницами, на Майю-сан, на вершине горы, — там есть храм, посвященный богу лисицы [1]: на обрыве скалы, высоко над океаном, среди многовековых сосен, возник целый город, в тишине гудит буддийский колокол, — и чем дальше в гору, тем пустыннее и тише, — и там стоят алтарики, заполненные лисами, фарфоровые, фабричнейшего производства, по качеству выработки хуже наших десятикопеечных кукольных голов, которые продаются на ярмарках для крестьянских детишек; и вечером в Кобэ на базаре я купил себе за иену десять таких лис: там, на Майю-сан, — извечная тишина, прекрасное спокойствие и — прекрасная красота горного хребта, гор, долин, океана. Все это увязать так, чтобы концы вошли в концы, — я не могу... Я иду по кладбищу, подсел к могиле лошади, мне перевели — «любимой лошади»: и тогда, я помню, я думал о том, что бытие определяет сознание, совершенно верно, но и сознание веков переходит уже в бытие.

7. О ИЕРОГЛИФАХ [2]

Мое имя — Пильняк — по-японски звучит: — П и - р и н я к у, потому что в японском языке нет звука *л* и потому что фонетика японского языка не любит двух согласных рядом и окончаний слов на согласные. Но японец не скажет —

— Пириняку, —

[1] См. глоссу IX.
[2] См. глоссу X.

его вежливость и его понятие о человеческих отношениях укажут ему сказать:

— Пириняку-сан.

Эта же частица с а н, приставляемая к каждому человеческому имени обязательно, а к другим, по нашим понятиям неодушевленным предметам, в случаях исключительных, — и эта частица никак не есть нечто соответствующее нашему гражданину или английскому мистеру: частица с а н указывает, что собеседник, беседуя с вами, обращается не к вам, а к вашей тени, к вашему второму духу, не желая обеспокоить вашей субстанции, дабы дух ваш почил по вашей воле, никак не омраченный собеседником.

Пириняку — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— сравнение пользы две ночи придут.

Борис — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— з а к а т н о й деревни гнездо.

О иероглифах: — тем паче, что многое надо оставить на совести тех, которые утверждают, будто японцы и китайцы мыслят кроме европейских способов — мыслить образами, словами и понятиями, — мыслят и иероглифами. Иероглиф Японии — точнее Ниппон — Страны Восходящего Солнца: — к о р е н ь с о л н ц а.

Иероглифическая письменность совершенно не варварственна, как многие думают. Дело в том, что, если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец. Иероглифы не записывают звуки, но записывают понятия (понятия же у всех народов примерно

одни и те же: стол есть стол, как его ни назови). В японском словаре — пятьдесят тысяч иероглифов. Курс средней школы — четыре тысячи двести. Курс начальной школы — тысяча восемьсот. В газетах — две тысячи пятьсот иероглифов. Изобразительных иероглифов — около трехсот. Квадрат, пересеченный горизонтальной чертой, — солнце; русское печатное И, пересеченное двумя горизонталями, — луна; иероглиф луны, поставленный рядом с иероглифом солнца, — яркий, светлый. Кривая палочка, подпертая другой маленькой кривой, — иероглиф человека. Две палочки под прямым углом, пересеченные округлой (рука, нога, грудь), — иероглиф женщины; два иероглифа женщины рядом — ссора; три иероглифа женщины рядом — государственная измена. Иероглиф тюрьмы изображается так: иероглиф слова, по бокам иероглифы собаки. Японцы взяли иероглифическую письменность от китайцев и употребляют ее и фонетически; все фонетические иероглифы — комбинированные: фонетический иероглиф барана звучит так же, как океан, — поэтому пишут иероглиф барана и приписывают сбоку иероглиф воды.

Кое-какие мои выписки звучат весело. Но уже не весело, а великолепно знать, что человеческим гением, гением Востока, создана такая изумительная грамота, знание которой, при знании ее другими народами, дает возможность обращаться с этими народами без знания языков, а при знании языков в эту же грамоту можно влить и живое слово. И, если бы пушки были изобретены не европейцами, а на Востоке, я уверен, что мы изучали бы сейчас эту иероглифическую грамоту, уничтожающую смешение языков, вместо того, чтобы корпеть над английским, немецким, французским.

Утверждают, что люди Востока мыслят, кроме наших способов мыслить, еще иероглифами. Не знаю. Если это

так, то это только лишний плюс их мыслительного аппарата. Но знаю, что, чем культурнее японец, тем больше он прочтет в иероглифе, тем больше для него раскроет иероглиф. И знаю, что на Востоке есть вид искусства, непонятный нам, когда поэт или философ, или ученый создает такой новый комбинированный иероглиф, над которым можно часами сидеть в благородном изумлении, как над шахматным ходом, следить за каждой линией, написанной тушью и кисточкой, вдыхать запах каракатицы (из которых добывается тушь) и открывать смысл человеческого гения в этих линиях и чертах. Я всегда приветствую каждый закоулок человеческого мозга.

В Токио я был в храме императора Мэйдзи (того императора, который вывел Японию из феодализма, дал японскую конституцию, разбил в 1904 году нас и умер в 1912 году, обожествившись после смерти), — в храме императора Мэйдзи хранятся его кабинет и его письменные принадлежности. Так эти письменные принадлежности совершенно таковы же, как в кабинете профессора и философа и друга России Йонэкава-сан. Я рассматривал эти же письменные принадлежности на почте, на станциях, в сельских трактирах и в столичных отелях. Везде они одинаковы: лакированная коробка величиною в двухфунтовую шоколадную, в которой лежат — палочка туши, камень, на котором растирается тушь, сосудик, в котором хранится вода, и штук пять разных сортов кисточек. Сидя на полу и пододвинув к себе столик высотою в нашу ножную скамеечку, держа на весу руку, японцы пишут своими кисточками свои иероглифы. Понятия чистописания и рисования у них сливаются. Молодой писатель, Сигэмори-сан, с которым я путешествовал по Синсю, каждое утро и каждый вечер посылал домой открытки: он писал их лежа: я спросил, как он пишет свои романы, — он ответил мне, что он всегда пишет

лежа. В Японии всеобщая грамотность, там, кроме идиотов, грамотны все сто процентов. При первой встрече все дают визитные карточки, при второй надо поменяться автографами, изречениями, вежливым словом, написанными на бумаге. Я писал десятки изречений и на картоночках для танки, и на квадратных картоночках, предназначенных для изречений, и даже на какэмоно. Однажды в поезде, по пути из Токио в Кобэ, ко мне подошел с такою картоночкой проводник вагона, поклонился так, как кланяются японцы, руки на колени, в шипении, и попросил от меня, русского писателя, моего изречения и автографа моего имени. Когда где-нибудь в провинции открывается выставка, или у какого-нибудь озера, куда зимой никто не заходит, — собираются паломники природы, — тогда сейчас же там открывается почтовое отделение, закрывающееся вместе с выставкой и на дождливые дни... и всегда около почтовых отделений и на углах больших городов сидят такие люди, которые умеют красиво писать и красиво выражаться: эти люди, за сэны, пишут красивые иероглифы и очень вежливые слова... А в поезде по Сибири туда из Москвы со мною ехал японский концессионер; он научил меня первым японским словам, тому, что благодарить надо так:

— Домо-аригато-годза-имасу, —

причем слово аригато значит — спасибо, а «домо», «годза-имасу» — ничего не значат, просто вежливые приставки. Можно сказать — аригато; можно сказать — домо-аригато, — это будет повежливее: — домо-аригато-годза-имасу — совершенно вежливо. Так вот этот концессионер от времени до времени склонялся над бумагой. Я добивался, что он пишет. Он скромно сообщил мне, что он пишет танки. Я попросил его перевести мне его танка. Одну танка я запомнил.

Вот она:

Мы перевалили Урал.
Мы в Азии.
Земля в снегу.
На станциях русские
бегают с жестяными чайниками.

8. СДЕЛАННЫЕ ЛЮДИ

Япония — нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяшек вместо обуви.

... Я смотрю направо и налево. Но я вижу — удивительнейшее, до сих пор незнаемое мною. Я вижу, как японский народ освободился от вещей, освободился от зависимости перед вещью. Народ отказался от всяких излишеств, от всяческих случайностей. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, ибо японский домик строится в два дня, в японском домике нет ни одной лишней вещи. Народ свел свои потребности к такому минимуму, от которого европейцы должны дохнуть. Народ питается в сущности не рисом, а бобовыми лепешками, съедая такое количество, от которого европеец протянул бы ноги. Японец, в колоссальном чувстве патриотизма, не имеет привязанности к данному клоку земли, — он в два дня собирается, чтобы перейти на новые земли, — хибати для него везде найдется, а весь свой скарб он снесет на плечах. Хибати сохранился от тысячелетий, — а оби, тот пояс, который красивою бабочкой висит на спинах женщин, есть рудимент постелей, которые женщины носили у себя на спинах (ойран носили постели на спинах еще в семидесятых годах прошлого века — матери до сих пор носят детей на спинах, работая с ними, с детьми за плечами, в полях). Надо большие главы писать о том, что живая Япония — есть страна мертвецов, ибо фило-

софский завет японцев — это прожить жизнь так, чтобы не опозорить предков, чтобы быть достойным предков, — завет синто — религии этого безрелигиозного народа, — такой завет, который кладет глубочайшую рознь между психикой европейца и человека с Востока. Японский народ, даже в свою безрелигиозную религию, внес правило, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, пусть даже нации, всей нации на большие десятилетия надо отказаться от куска хлеба, он, народ, должен найти правильный путь, пусть кривой, но всегда такой, который приведет к назначенной цели, — пусть японцам семьдесят лет тому назад пришлось ласково улыбаться, в отчаянной ненависти, европейцам, — они перехитрили европейцев, этот единственный на Земном Шаре цветной народ. Японский народ освободился от боязни индивидуальной смерти; народ ввел в доблесть харакири; на площадях землетрясений народ умирал организованно; я видел, как пожарные лезли на горящую стену, чтобы свалить ее, — было совершенно ясно, что они погибнут под горящими обвалинами, которые собою они хотят повалить, они были совершенно деловиты, они погибли, свалившись вместе со стеной, — толпа приняла это как должное. Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из наших, русских, дипломатических работников, об этом писалось в газетах. Вы никогда ничего не узнаете от японца по выражению его лица, — выражение лица японца с о з д а н о, а не возникло, — так же создано, как освобождение от боязни индивидуальной смерти. Каждый раз, когда я говорил с японцами, даже с моими друзьями, японскими профессорами и писателями, даже в часы

отдыха и прогулок, у меня разбаливалась голова: меня нагнетала нервная, мне непонятная и несвойственная, психическая напряженность моих собеседников: это были странные головные боли, точно я проиграл подряд десять шахматных партий. Политика — не моя область, тем паче международная японская, — но в дни моего пребывания в Японии там, в парламенте, обсуждались меры, гласно и в деловитом спокойствии, о поднятии качества промышленной продукции за счет понижения заработной платы и за счет разорения крестьянства: что же, крестьяне будут организованно помирать.

... Японцы низкорослы, смуглолицы, черны, крепко скроены, — психическая организация японцев действует на европейца чрезвычайно утомительно, — японцы не любят, когда европейцы говорят на их языке, — и европейцы, проживая иногда по нескольку лет в Японии, не научиваются различать индивидуальных черт японского лица, все лица кажутся им на одно лицо, индивидуальность стирается, она стирается и манерою японцев ничего не выражать лицом; у японцев есть манера вежливости шипеть при разговоре, кланяясь и при еде, шипеть, втягивать в себя воздух, как делают европейцы, обжигаясь; и вот мистеру англичанину начинает казаться, когда он сидит за обеденным столом или беседует с японцами, когда для него стерта индивидуальность японцев и они шипят, как растревоженный муравейник, эти маленькие люди конденсированной воли и непонятного языка, — европейцу начинает совершенно ясно казаться, что перед ним не люди, а людоподобные — сделанные — муравьи...

За последние сорок лет нация японцев увеличилась в росте на д в а в е р ш к а: это сделано волей японского народа, это с д е л а н о. У японцев есть понятие — с и б у й — трудно перевести — о с к о м и н н ы й в к у с:

отказ от вещи, доблесть простоты, доведенной до оскомины. Сибуй упирается в Бусидо (путь чести самураев), — в ту самурайскую честь, которая указывала не иметь денег, быть преданным и доблестным, не бояться смерти и не иметь потребностей. В главке о «принципах «наоборота» я писал о Синоби — о науке сыска. — Не суть важным все эти науки, Сибуй, Бусидо и Синоби: важно продумать психику народа, имеющего такие заповеди, — с д е л а н н а я психика японцев никак не похожа на психику европейцев.

И еще о «сделанности» японского народа. Надо быть очень хорошим врачом, чтобы сказать, чей антропологический тип — японца или европейца — более совершенен, — но без качеств врача можно утверждать, что тип японца более «сделан», чем тип европейца, более отстоен: и в Англии, и во Франции, ии в Германии, и в России есть и рыжие, и беловолосые, и черноволосые, и сероволосые, всех цветов, — в Японии — все черноволосые, иноволосых — нет: эта особенность, по утверждению врачей, распространяется и на все другие антропологические особенности. Антропологический тип японца отлит.

9. ШУМ ГЭТА

В июле в Японии пойдут дожди, они будут итти неделями подряд, в страшной жаре, они не будут испаряться, все превратив в болото. Все будет покрываться плесенью, все будет истлевать в плесени и гнили. Обессиленные, обалдевшие в потной жаре люди в трамваях будут распахивать свои кимоно и будут обвеивать веерами голое свое тело, — солнце будет палить сквозь банные клубы пара, в плесени, в многонедельном удушьи, когда ни днем, ни ночью нет человеку отдыха... А с ноября новые пойдут с океанов ветры, тайфуны, понесут холодную изморозь и

туманы, «петербургскую» погодку, когда в японских шалашах за хибатями — сидеть занятие невеселое. Пусть на глаз туриста земля Японская очень красива...

. . . . . .

У каждого народа есть свой шум.

Улицы Лондона чопорно шелестят, там не гудят даже рожки автомобилей, толпа движется с медленной скоростью грузов, тех, что над Сити передаются по крышам. В России, в годы революции, национальным шумом были грохоты пушек вдали, шопот в переулках и песнь идущих красноармейцев на площадях.

В Японии три шума. Тишина, безмолвие парков, шум падающего водопада, шелестящего ручейка в деревне, — и — ч е л о в е ч е с к и й ш у м г э т а. Шум каждой нации имеет свой смысл и отражает особенности нации.

Гэта — это деревянные сандалии, скамеечки, которые надевают японцы на ноги, выходя на улицу. В гэта японцы едут на велосипеде, в гэта детишки прыгают на одной ноге. Гэта прикреплены к ноге двумя бечевками, продетыми между большим и остальными пальцами. Шум гэта тверд, как кость, как голый нерв, — шум гэта страшен на ухо европейца, когда они скрипят пробкою по стеклу — деревом по асфальту. Шум каждой нации имеет свой смысл: человеческий шум Японии — это костяной шум гэта.

Автомобилем мы мчим по Токио, в Уэно-парк. Автомобиль идет по улицам, залитым солнцем, цветами, пестрыми кимоно женщин, шумом трамвайных, автобусных, автомобильных рожков, простором площадей перед императорским замком, гамом американских небоскребов Гинзы и Нихон-басси, окончательной теснотой национальных кварталов. И всюду главенствующий шум — шум гэта. Но вот мы в Уэно-парке (так же, как, в Хибия-парке, как и Сиба-парке): здесь в тени деревьев затаились националь-

ный музей, храмы, чайные домики, здесь под обрывом зарастает священными лотосами озеро, и на острове среди озера — синтоистский храм. И здесь — в этот солнечный весенний день — затаилась тишина, пустая тишина, вроде той, что у нас бывает в бабье лето.

. . . . . .

Мы едем к озеру Ханонэ. Поезда подходят к перрону каждую минуту, разменивают людей и мчат дальше. Поезд мчит мимо Иокогамы, по берегу моря, под горами, под горы. Так мы едем до японобиблейской Одавары. Там мы берем автомобиль. И автомобиль несет нас в горы. О радостях красот японской природы — не мне говорить. Мы едем древнейшей дорогой самураев, путем из Киото в Эдо (нынешнее Токио), обросшим преданиями тысячелетий. Автомобиль лезет в горы, около обвалов, над обвалами, под обвалами — древним путем, соединяющим Восточную и Западную Японию. Там внизу обрывается со скал река. Направо, налево с гор свисли трубы, зажавшие воду для того, чтобы ее энергия превращалась в белый уголь. Через обрывы перекидываются висячие мосты, по ним в горы уходят электрические поезда. Сначала идут леса бамбуков, затем платанов, японской сосны, лиственниц, кедров, просто сосны, — дальше идет ель — и еще дальше — каменные, остуженные, голые громады. Оттуда, с этих громад, можно шутить о том, что там за океаном видна — Америка. И здесь наверху лежит снег, водопады выложили свои логовища льдом, холодом. Электрическая дорога повисла внизу висячим мостом, уперлась в скалу и ушла под камень, в тоннель, — нигде нет такого количества тоннелей, как в Японии.

И тогда нам открылось озеро несравненной красоты, с водами синими, как небо в грозу, пустынными и прозрачными, как наш сентябрь, — и в озере опрокинулся Фудзи-сан, раздвоившийся, ставший над горами и опрокинувшийся в ледяных водах озера. Фудзи-сан — священная гора — покойствовал, величествовал над окружающими горами и над нами, в белом своем плаще снегов. Японцы кланяются духу Фудзи, как кланяются стихиям природы, неподвижному в природе, абсолютному в нашей быстротечности.

У озера, там, где путь самураев огибает озеро, стоят ворота, граница между Западной и Восточной Японией, тут рядом кладбище, эти таинственные японские могильные камни, — тут не так давно, только несколько десятков лет тому назад, спрашивали прохожих, куда и зачем они идут мимо этой заставы.

Но мне говорить сейчас — не о самураях. Больше, чем Фудзи, я кланяюсь — другому. Мы мчали автомобилем в горах под, над и около обрывов, через пропасти, от жаркого весеннего утра до морозного зимнего дня, от бамбуков до елей и голых скал. Тоннелями и цепными мостами мимо нас уходила дорога, местная дорога, построенная только к тому, чтобы связать горных жителей с долиной и чтобы вывозить с гор лес. Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... —

Вот что покоряло меня: я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками от долин до отвесных обвалов. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки

верст [1]. Это только гений и человеческий труд могут так зажать в трубы стихии воды, горные водопады, чтобы превратить их в белый — электрический — уголь.

И не только наслаждаясь природою и Фудзи, я видел труд японского народа. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнем, — и только одна седьмая отдана природою человеку для того, чтобы он садил рис. Еще так недавно Япония считалась страною сельскохозяйственной. И — вот как возделывается рис. Рис может расти только в воде. Все долины Японии разрезаны полями величиной в среднюю нашу комнату. Земля на этих полях выверена по ватерпасу, чтобы вода на ней стояла ровно, каждое такое поле по краям огорожено невысокою насыпью, чтобы не стекала вода. Земля должна быть очень удобренной, и ее удобряют рыбою, родственницей нашей селедки, той, которую мы едим соленой. И все поля, все эти комнатовеличинные учреждения для проращивания риса, соединены между собою сложнейшей и требующей окончательной внимательности оросительной системой. Вся Япония долин выверена по ватерпасу — ох, сколь это сложнее, чем европейская триангуляционная — на бумаге — выверка земли! — триангуляционная, — предназначенная главным образом для выверки артиллерийской стрельбы.

. . . . . .

Пусть на глаз туриста земля японская очень красива, эта земля, которая еще не остыла от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя. Вопреки этим сказкам о прекрасности японской природы, или в дополнение к ней (ибо, на самом деле, очень много приятного для глаза в японских пейзажах вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод), — я утверждаю, что природа Японии — н и щ а я п р и р о д а, ж е с т о к а я п р и р о д а, такая, которая дана человеку — назло. И — тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратить, воспеть и возделать эти злые камни, землю вулканов, землю плесеней и дождей.

И первое, что видишь, когда приезжаешь в Японию, за всей ее экзотикой и красивостью, за всеми ее поездами, миллионнотиражными газетами и прекрасными книгами,— видишь, что Япония — нищая на глаз европейца страна, эта вулканическая держава, — потому что японцы живут в шалашах, едят всяческие отбросы, одеваются в тряпки, ходят босые на деревяжках, — эта вулканическая держава организованного нищенства, нищенственнейшего экзистенцминимума. И — тем с большим уважением я отношусь к японскому народу.

Берите статистику и экономические справочники. Известно, что национальные богатства государств создаются очень скучными рудами железа и цветных металлов, каменным углем, нефтью, каустикой. Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти, ее уголь не коксуется (Япония производит в год 209 т. тонн железа, — это составляет $^1/_2\%$ того, что в тот же срок добывают САСШ), — у Японии нет ничего, что обыкновенно, в стальной наш век, определяет национальную мощь государств, — и тем не менее Япония — великая держава.

Мистер Смит из Шанхая, американский гражданин, так говорил со мною о Японии:

— Так это же не страна, а чорт знает что такое! — говорит мистер Смит. — Ведь все они — жулики и не-

[1] См. глоссу XI.

вежды, хоть и все время улыбаются. И — каждый японец — идиот. Это — чорт знает что такое! — а как соберется пять японцев, с ними не столкуешься, переговорят.

— А — если десять? — спрашиваю я.

Мистер Смит молчит.

— Десять японцев вместе — обжулят кого угодно в мире, — говорит сердито мистер Смит. — Но вы смотрите! — восклицает мистер Смит. — Это же не страна, а чорт знает что такое, у них же ничего нет... — ведь это форменные нищие, — у них же все плесневеет, костюма нельзя хорошего привезти!

Япония — великая держава. Япония не имеет каустики и железа. И я вижу: — то место, которое в Англии занимает кардифский каменный уголь, в Японии заменяется национальными нервами, национальной волей. Национальные нервы и воля японского народа есть та необыкновеннейшая рента, организованностью своей создающая национальные богатства и национальную мощь. Этого нет ни у одного народа. Я слушаю шум гэта, костяной шум их японской, деревянной обуви, — и этот шум гэта есть для меня символ воли и нервов японского народа, нервов, сжавшихся до того, что они стали как дерево.

10. ШУМ ГЭТА И ВУЛКАНОВ

Я знаю: старые народы, имеющие многовековую культуру, многовековый быт, — неспособны к новаторству. У таких народов их быт, их обычаи, их мораль и м а т е р ь я л ь н а я их культура, законсервированные веками, теряют гибкость, неспособны к новаторству, — и нации более молодые их побеждают именно благодаря своей молодости и гибкости, способной к новаторству. Так было с Египтом, Вавилоном, Грецией, Римом, Индией, Китаем. — Казалось бы, что так же должно было

бы быть и с Японией, сверстницей Греции: и Япония нашла в себе силы стать молодой страной, — силы, указывающие, что у этой страны — очень много м о л о д о с т и.

К а к и е э т о с и л ы? —

Я смотрю быт и обычаи японского народа, этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетние быт и обычаи, из сознания перешедшие уже в бытие. Быт и обычаи, и то, что в Японии все грамотны, и то, как организована воля японского народа, — все говорит о качестве и древности японской культуры. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, этику, эстетику, не оказался препятствием для западно-европейской конституции заводов, машин и пушек: какие это силы!? —

Есть закон развития человеческой культуры, — тот закон, по которому развитие духовной и матерьяльной культур не идут рука-об-руку, ибо матерьяльная всегда опережает духовную. Далеко ли от Платона и Аристотеля, величайших философов и мыслителей европейской древности, величайших оазов человеческого духа вообще во все эпохи, — далеко ли от них ушли Кант, Гегель, Толстой, величайшие мыслители наших дней, — и можно ли с этими нашими днями сопоставить век Платона, век ручного труда и войн кулаком и камнем — с нашим веком, с веком Толстого, веком заводов, металлургии, электричества, железных дорог, авиации, радио, дредноутов и стоверстных пушек? — Причины этому в особенностях развития человеческой индивидуальности. Например: — я ребенок, родился ничего не зная, мне десять лет, — мне показали автомобиль, — я ничего не знаю о том, сколько человеческого труда и гения было затрачено на создание этой машины, — но я в три дня научился управлять этой машиной, — то, что достигнуто

матерьяльной культурой — культурой вещей — прежних веков, я принимаю как норму, от которой надо итти дальше, и воспринимаю устройство автомобиля с таким же трудом, как устройство сохи. — И дальше: — я ребенок, я ничего не знаю, — и для того, чтобы достигнуть культурного уровня моих отцов, чтобы иметь право итти дальше в плане культуры духовной, я должен потратить тридцать лет, я должен долгие годы учить грамоту, математику, историю, — и Толстого я могу изучить не тем, что прочту о нем, а только тогда, когда я прочту его самого, — и — сколько бы Толстых я ни прочел, сколько бы научных дисциплин я ни изучал, сколько бы ни проповедывали мне отцы, — я по-своему расшибу себе лоб, я по-своему полюблю и возненавижу, по-своему определю свое место под луной, создав свою философию моего места и моего назначения, — и я все должен накопить сначала — от дикаря, ничего не знающего, до Толстого и Платона, — ибо наследье предков, культура предков — биологическим путем передает культуру отцов — даже не промиллями, но мельче.

И тогда, когда матерьяльная культура делает шаги по европейской сказке, сапогами-семиверстами, — культура духовная тянется черепахою. Разителен в этом отношении пример Америки: там колоссальная матерьяльная культура, но культура духовная там еще в пеленках, никак не стала на ноги. — Черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко.

Пойдите, побродите по Европе — по Англии, Франции, Германии, Италии. Там трудно найти место, где бы история не закостенела развалинами замков, монастырей, соборов, разваленных дорог, кладбищами. Многие кладбища и храмы уже забыты, безыменны, давно мертвы,

но они стоят, давят своими известняками. Про Европу, как про Англию, поистине можно сказать, что Европа, как Англия, вышед своею культурою из известняков Вестминстера, возвращается туда известняками и склерозами цивилизации. И над Англией, Францией, Германией, Италией в часы месс и вечерен отзванивают колокола похорон. — Матерьяльная культура Европы — грандиозна, доведена до предела, перешла уже из живых организмов на кладбища и в храмы, — в храмах и на кладбищах уже и заводы и фабрики, перестающие дышать, — Европа консервируется, теряя молодость, осклероживая фабриками, замками и монастырями: — это культура матерьяльная. — Духовная культура — уже столетье известно, что западная, она, не выше восточной. И вот — Япония, страна, живущая под вулканами, страна, отказавшаяся от вещи, страна маленьких домиков, маленьких деревянных храмов: ни одного Вестминстера и Собора Парижской богоматери в Японии — нет. Теперешняя японская культура фабрик и заводов — не старше сорока лет, — а раньше заводов и фабрик в Японии — не было. У японского народа почти не было матерьяльной культуры потому, что весь японский быт упирается в землетрясения, это землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь: психология народа выкинула ее из своего обихода волею неостывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская матерьяльная культура трансформировалась в японском народе в волю и в организованные нервы японского народа: и эта культура, духовная уже, культура волевого примата и организованных нервов, крепка, выверена и сильна, как крепкая древняя культура, — жизнеспособнейшая культура «разумности», умеющая бороться даже с невзгодами вулканов. — Япония — страна островная, в своей исто-

рии она знает такие эпохи, как Токугава, когда Япония на два слишком века запиралась от всех остальных народов мира: это дало Японии чрезвычайно высоко напряженный национальный инстинкт, — столь острый инстинкт, что, несмотря на множество партий и на рабочий вопрос, все же кажется иной раз, что все партии в Японии — только фракции единой огромной партии в семьдесят миллионов человек, которая называется — Япония.

И еще одна предпосылка. Есть естественный закон: всегда, когда строят завод, его строят по последнему слову техники, — и не всегда, когда есть уже старый завод, пусть отстающий от должного уровня техники, есть возможность его перестроить, ибо издержки на его перестройку не покроют тех преимуществ, которые даст новый завод перед старым, — то обстоятельство, которое поставило очень многие отрасли производства Европы на колени перед Америкой.

И теперь я перехожу к выводам.

Я поставил себе вопрос:

— Какие это силы японского народа дали ему возможность, единственному народу на Земном Шаре небелой расы, стать великой державой, стать в ряд великих держав? —

И я отвечаю коротко:

— Вулканы. —

У Японии не было своей матерьяльной культуры, — и была (и есть) старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз матерьяльной культуры не связывали рук японского народа (так, например, как они связали руки Китаю). Островная психика была (и есть) подчеркнуто-националистична, и она создала волю народа не бояться индивидуальной

смерти. Мудрость старой духовной культуры и воля — нашли силы противостать европейцам. В те дни, когда пришла — пушками и товарами — Европа в Японию, в плане матерьяльной культуры Японии не от чего было отказываться, — а дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строят по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами — бороться и вытеснить. — И решающим фактором в этой борьбе, конечно, была старая культура воли и нервов Японии, та культура, которая была рождена вулканами и которой не надо было перестраиваться на новый лад.

11. О ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЕ ШАРА

... Взбушуются воды океана бурей, утихнет буря, — и волны лягут, вода сравняется, — и — поелику Земной Шар есть шар, омываемый со всех сторон водами океана, — сравняется вода в шар. Вулканическая деятельность земли накидала на землю горы, — идут века, выветриваются горы, размываются водами, перекапываются человеком, заполняются долины лесами и песками, — и — пройдут века, еще десятки веков, и будет земля ровна, как лысина почтенного англичанина. — Все на этом свете уравнивается, и идеальная геометрическая форма — есть шар, у которого нет никаких углов. Психическая и бытовая геометрия — всегда была, есть и будет построена на началах геометрии евклидовой.

Поистине, Земной Шар переживает сейчас эпоху окончательного узаконения геометрической формы шара. Ибо — не только пароходами, купцами, миссионерами, машинами и пушками, — но и знанием, знанием — окончательно изборожден Земной Шар. Ибо заборы и «великие стены» национальных культур рушатся под железным шагом знания, уравниваясь в знании и в труде, расплескиваясь через эти заборы, не считаясь даже с

антропологией европейца, негра или японца. И вот задача — посмотреть, как, какими силами Япония разрушает старые свои заборы и каким уменьем сама перебирается через заборы иностранствий...

. . . . . .

Геометрическая форма шара — сердце японского народа в старом, ум в новом. — Пусть останется на совести тех, кто это утверждает, как хороший образ, утверждение, что японский народ надел на столетие маску. Армия, флот, фабрики, заводы, торговля — все это взято с Запада, и говорить о японских пушках, которых, к слову, я не видал, — это то же, что говорить о системах пушек английских, немецких, прочих. Медицину японцы целиком приняли европейскую, с немецкой фармацевтической записью, выкинув в ненадобность жен-шени и лю-и. А заводы — к величайшей обиде мистера Смита! — японцы строили так: они выписывали из Германии и Англии машины и инженеров, инженеры ставили машины и руководили ими; с инженерами заключали договоры на три, пять лет; эти лета проходили, приходил срок договору, — и в день срока англичанину или немцу у ворот завода очень вежливо предлагали зайти в контору; в конторе, на полу, за традиционным чаем дирекция благодарила инженера, — ворота завода были заперты для инженера навсегда: там на его месте стоял японец, тот самый, который в течение этих лет безмолвнейше исполнял все требования инженера и был у него на побегушках; инженер навсегда покидал Японию, чтобы всячески ее ругать.

12. *ТЕАТР И ЖИВОПИСЬ — ЭЛЕМЕНТАМИ ФОРМУЛЫ ШАРА*

Геометрическая формула шара слагается из ряда элементов, — а искусство всегда есть та «крыса», по которой

моряки узнают, как тонет корабль: и в Японии, во всей Японии, существует только один европейский театр, Цукидзи театр Осанаи-сан [1].

Когда, вернувшись, уже в Москве, я показывал фотографии постановок Осанаи-сана Качалову и Лужскому, они, Лужский и Качалов, находили на этих фотографиях самих себя: потому что Осанаи-сан так ставил вещи Чехова и Горького, что взяты были не только декорации, но и мизансцены. Осанаи-сан переиграл почти все постановки Художественного театра, и в почтительнейшей рамке у него висит Станиславский. Осанаи-сан считает Художественный театр — лучшим в мире,— и работа Осанаи-сана в Японии равнозначна работе Мейерхольда в России: вот еще одно доказательство «наоборота»,— ибо девяносто процентов театральной революции Мейерхольда — так же слепо, как Осанаи-саном, взято Мейерхольдом у восточного театра.

Театр Осанаи-сана — революционный в Японии театр,— а когда я пришел впервые на классический японский спектакль, я понял, что все это я видел у Мейерхольда: но об этом — потом.

Театр Осанаи-сана — единственный в Японии европейский театр,— и множество есть театров в Японии классической японской трагедии.

В Токио, на холме Кудан, при храме Ясукуни — я видел Но — те религиозные мистерии, которые суть прародители театрального действа, а в Осака я был в кукольном театре, который также есть прародитель театра теперешнего.

На Но артисты играют в масках, в кукольном театре играют куклы, величиною в человека, по сцене их двигают люди,— и до окончательнейших пределов доведена там

[1] См. глоссу XII.

условность театрального действа, когда зритель, отдавший в прихожей свои гэта, сидящий на полу, должен н е в и д е т ь на сцене этих «никтошек», которые управляют куклами, и должен представлять, что это куклы говорят и поют голосом чревовещателя, сидящего в стороне с сямисэном.

Но и кукольный театр окончательно порос сединою: мне показывали на Но маски, которым пятьсот лет. Но вот в Эмбудзьо, в Кабукидза, в Тэйкоку (Империал) театрах, в классических японских театрах — у каждого театра есть свой храм, храмик, где курится сандаловая смолка и где хранятся священные реликвии театра,— а артист Утаэмон Накамура, знаменитейший артист, играющий женщин, восьмидесятилетний старик,— есть тринадцатый в роде артистической династии Утаэмонов; — и при мне однажды в театре вышел на сцену старейший из династии артистов, с ним вышел молодой артист, молодой стал на колени, и старик оповестил, что старший в роде молодого умер, этот молодой берет имя умершего и будет честно нести его до конца своих дней; — а около сцены выставляется плакат, на котором написаны имена актеров и благодарность зрителям, посетившим театр.

И кто знает, что вращающаяся сцена и «дорога цветов» (дорога цветов, в элементарном зачатии, имеется в России только у Мейерхольда и ею пользовался Вахтангов в «Турандот»),— что вращающаяся сцена, дорога цветов и использование прожекторного света — взяты европейским театром — у восточного?! — причем у нас на сцене только один вращающийся круг, а в японском театре — два [1].

Женские роли в японском театре играют мужчины. Там, за кулисами, в уборных Утаэмон Накамура, Канья Морита, Байко Оноэ, Косиро Мацумото, Содзюро Савамура, — у знаменитейших японских артистов, — перед уборной надо снять башмаки, надо поклониться артистам в землю,— там, в уборных,— аскетическая чистота, монастырская простота, подушка перед зеркалом, на подушке артист, сбоку хибати, на столике письменные принадлежности (и Мацускуэ Оноэ, 84-летний человек, который не мог мне при свидании подарить автографа, потому что у него дрожали руки, прислал мне потом — напамять — иероглиф счастья, лучшую вещь, которую я вывез из Японии), а с другой стороны от артиста стоит столик с гримом.

И вот законы грима: артисты гримируются так, что их грим похож на маски, грим остался от веков масок, и по гриму, по цвету лица, по тому, как подняты или опущены брови и углы рта,— зритель должен знать, какую роль — благородного человека или злодея, счастливого или несчастного, прочее — какую роль играет этот человек.

Пусть грим будет ступенью в мир театральных условностей, рожденных веками японского театра,— ибо, как грим, костюмы, декорации, свет,— все условно и, в этой условности, абсолютно строго учтено. И каждый жест актера, манера его поступи, его движения, его голос,— все — в своей условности — регламентировано, — и — какая вдруг красота возникает в этой окончательной условности, где ничто не неучтено, где каждый жест, каждая интонация голоса, — все выверено так, чтобы нести свои капли в копилку красоты,— и как трудно после японского театра первый раз видеть европейский, где актеры слезли с катурн и ходят, как им бог на душу положит,— во мраке. Во мраке — потому что такого количества света, какой есть в японском театре, в этой стране, первой по электрификации в мире,— нет ни в одном русском театре, ибо на сцену в Японии бросается столько света, что там можно кинематографировать.

[1] См. глоссу XIII.

Я пришел в театр в два часа дня, и я уйду отсюда в десять вечера. Я погружаюсь в мир условностей, где восьмидесятилетний старик играет девушек, где пьесы даже современных авторов (Цубоути-сан — современного японского Шекспира, как его там называют) берут сюжеты из токугавской эпохи бытия самураев, где абсолютная сентиментальность и красивость.

На сцену в сопровождении «никтошек» — дорогою цветов — идет артист: он идет так, как обыкновенные люди не ходят; по тому, что лицо его мелово-бело, я знаю, что это несчастный герой; по тому, что он в белых одеждах, я знаю, что он благородный, неправильно гибнущий герой. Он идет дорогою цветов минут пятнадцать — вечность в театральном действие. Все глаза устремлены на него. Но вправо от сцены на помосте сидят три музыканта, они играют на сямисэнах, и один из них, голосом, идущим из желудка, никак не естественным, рассказывает историю этого героя. Он кончит рассказывать к тому моменту, когда герой пройдет дорогу цветов и придет на сцену.

Никтошки, провожающие героя, одеты в черное, они в масках,— их надо не видеть,— надо не видеть, как они поправляют костюм на герое, как они из маленького чайника дают ему промочить горло, как они, к тому моменту, когда герой приходит на сцену, перетаскивают декорации. Их — не надо видеть, но я слежу за ними, чтобы уловить фокусы того, как они меняют на сцене, на глазах у зрителей, города и замки на морские берега и горные трущобы, как их волей плывут сампаны и движется целый остров, декорации на котором построены во всех трех измерениях, как они переодевают на сцене артистов,— я слежу за ними, за этими черными людьми в масках; черными своими халатами эти люди должны были бы разрушать красоту света и красок,— и я не успеваю проследить за ними,— в этой самурайской пьесе,— действие которой идет за сценой, о действии которой узнается из рассказа сямисэнщика, а на сцене видны только иллюстрации к этой длинной самурайской истории.

Злой даймио уничтожает весь род своего вассала,— это рассказывает сямисэнщик; но один из сыновей вассала тайно учится в народной школе,— и даймио посылает другого своего вассала убить этого мальчика; сямисэнщик рассказывает, что этот второй вассал поклялся убитому вассалу сохранить жизнь его сына; дорогою цветов идет вассал, посланный даймио на убийство: на сцене проходят — замок даймио, народная школа; сямисэнщик рассказывает, что в этой же школе учится и сын идущего убивать: на сцене, пока герой идет по дороге цветов, показано, как мать ласкает своего сына; все это кончается тем, что отец, чтобы сохранить, как он поклялся, жизнь сыну убитого вассала, вместо этого мальчика убивает своего сына; мать и отец тоскуют над головой сына,— всеми условными жестами и интонациями голоса отец передает страдание; сямисэнщик уже молчит,— и зрительный зал во мраке рыдает, и я чувствую, что и у меня в носу щекочет от этой наивной мелодрамы.

Или: сямисэнщик рассказывает, а артисты иллюстрируют, как в грозу, в молнии, княгиня-мать потеряла сына; прошли годы, мать, в тоске и обеднев, сошла с ума; она ходила всюду, разыскивая сына, нищая старуха, и всюду рассказывала, как в грозу умер ее ребенок; сын же ее совсем не умер, он попал в буддийский монастырь, там рос и учился и стал первосвященником города Нара; и там старуха мать и сын-священник встретили друг друга, сын узнал мать, мать не узнала сына; — и опять в этот момент, когда сын и мать плакали друг около друга,— плакал и зрительный зал. На мой ум: только наивно,— на мой глаз: удивительно, прекрасно, потому что до Японии мне нигде не приходилось видеть такой продуманней-

шей красивости, условности, доведенной до классики, рожденной Но, созданной династиями актеров, живущих с маленьким театральным храмиком.

. . . . . .

И вот для пропорции формулы шара: один европейский театр и десятки классических. Многие писатели, по моей анкете, никогда не ездили на лошадях, сразу с курума (рикша) пересев на автомобиль и электрическую дорогу. Приняв машинную Европу, нация японцев за последние семьдесят лет увеличилась в своем росте на два вершка, — нация, которая столетиями отсиживала ноги. И опять надо думать о «наоборотe» и о шуме гэта. Если национальный шум Японии — шум гэта, то национальный запах Японии — запах каракатицы, ибо из каракатицы делается тушь, а каракатица — и свежая и сушеная — продается в изобилии, и на мой нос каракатицей пахнут сандаловые курения. Исида-сан, с которым я познакомился в Японии и который теперь живет в России, впервые сюда приехав, — на мой вопрос, как он привык к русским кушаньям, — ответил:

— Спасибо, я привык, только, извините, я никак не могу привыкнуть к сметане.

Сметанного понятия в Японии нет.

Ну, а мы должны были привыкать жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку, горькое варенье, сладкое соленье, ящериц, червей, ракушек, сырую рыбу, вяленую каракатицу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу. И пищу, — искусство кухни, — тоже надо считать искусством.

Всякое искусство,— и искусство пищи, театра и живописи,— все это есть те монументы, которые возникают

надстройками над бытием и, перешед в бытие, бытие утверждают. Мейерхольд — революционер западного театра, Осанаи-сан — революционер восточного театра. Мейерхольд — весь в зависимости от восточного театра, Осанаи-сан — весь в зависимости от западного театра, от Московского Художественного. Японские классические картины в Императорском музее, написанные сотни лет назад,— есть то, к чему сейчас стремятся революционнейшие художники Запада и России, в частности,— есть последнее слово западно-европейского мастерства. А на выставке Национального живописного общества, где были выставлены полотна тридцати с лишком современных японских художников,— только у четырех-пяти — у Сахара, у Тамаки, у Такаяма, у Мураками — сохранилась старояпонская манера письма,— работы же остальных несут на себе следы голландцев, французов и даже англичан: достижения этих последних — есть тот канон, от которого на Западе теперь освобождаются — во имя классики японской живописи.

Но вот что существеннейшее: монументы возникают только тогда, когда фундаментом к монументам у нации есть матерьяльные и духовные накопления. И работа Осанаи-сан и художника Кавасима-сана, их достижения стоят теперь на такой высоте, что Осанаи-сан был бы желанным режиссером в лучшем европейском театре, а картины Кавасима-сана я не удивился бы увидеть на выставках московского Мира искусств и парижского Салона. Иными словами: молодое, европеизированное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы,— подпочва для его возрастания созрела в Японии [1].

---

[1] См. глоссу XIV.

ВНЕ ПЛАНА ИЗЛОЖЕНИЯ

1. ЯПОНИЯ — ЕВРОПЕЙЦУ

Европеец — американский гражданин мистер Смит или Райт из Шанхая — презирает Японию. Он говорит с величайшим презрением:

— Это чорт знает что такое, каждый японец — обязательно идиот, а пять японцев вместе — такие жулики, что с ними ничего невозможно сделать, и они тебя вокруг пальца обведут. Это же не страна, а чорт знает что такое.

Никак не разделяя мнения мистера Райта о Японии, тем не менее я очень его понимаю. В общежительном отношении эта страна — европейцу неудобна. Зимой в этой стране холодно и сыро, летом в этой стране неимоверно жарко и — опять сыро, так сыро, что все пиджаки мистера Смита и его ботинки покрываются плесенью. Во всей Японии нельзя достать настоящего сливочного масла, ибо такового там нет, и невозможно получить настоящего хлеба, ибо как европейцы не разбираются в тридцати способах варения риса, так и японцы не имеют толкового понятия о качествах хлеба. Ветчину европеец должен есть в консервах, привезенную из Австралии. Квартиры, такой, чтобы не дуло с пола и из окон, невозможно в Японии найти, ибо, хотя там и строятся европейские коттеджи, все равно они строятся на японский лад, картонными фонариками, в которых все дрожит и отовсюду дует. Все европейцу в Японии дорого, ибо японский табак ему непривычен, а на английский — баснословные пошлины,

ибо у европейца такие потребности, которых нет у десяти японцев,— ибо — даже в универсальных магазинах — две цены: для японцев и для иностранцев.

Но все это мелочи перед тем основным, что решает все,— перед тем, что в Японии н е у в а ж а ю т европейца, белого человека. С ним совершенно вежливы и совершенно вежливо спрашивают на границе, кто у него бабушка, и неукоснительно просят развязать его чемоданы,— а затем в вагоне (он едет в первом классе, по вагонам идет бой-сан из вагона-ресторана, раздавая билетики на обед) мистер Райт, негодуя, видит, что в вагоне-ресторане сначала перекормят всех японцев, даже третьеклассников, и только потом позовут его, первоклассника,— и накормят чорт знает какою белибердою, подделанной под английскую кухню,— но и этой белиберды дадут такое количество, что мистер Райт поднимается из-за стола голодным, в горькой обиде от голода и от того, что его не уважают.

Мистер Смит остановится в Токио в Империаль-отэль, иначе он «потеряет лицо», за номер платит двадцать семь рублей в сутки, и ему отовсюду дует, и его не уважают, и кругом него стена вежливейших лиц,— не лиц, а масок, через которые мистер Смит ничего не видит.

Мистер Смит приехал заключить торговую сделку, и он ее заключит,— но непременно так, что он будет надут. Мистеру Райту вечером скучно, но в театр он не пойдет, ибо в тех местах, где японцы плачут, ему хочется спать,— в ресторан он не пойдет, ибо никаким рублем его не заставишь кушать каракатицу. Хорошую девушку, гейшу из чайного домика, которая любила бы мистера Райта и была бы страстной, мистер Райт достать не может— в этой, по его понятиям, развратной стране,— ибо хорошая японка не пожелает иметь интимных дел с европейцем, от которого — на нос японцев — кисло пахнет, а в Йоси-

вару пойти — вся охота пропадет, как только он увидит, что там такая спокойная деловитость и институтственность, что даже выпить нельзя.

И мистер Смит раздумается о землетрясении, — а ночью, когда на самом деле будет маленькое землетрясение, он выскочит в коридор из своего номера мертвецкибледным, без подштанников и с туфлей в руках.—

И мистер Смит презирает Японию, ее камни, ее народ — чистосердечнейше, искреннейше,— и, если мистер Райт к тому же и писатель, он пишет тогда такие клеветнические книги, как «Кимоно» Джона Перриса, книги, интересные только тем, что в них можно проследить расовую ненависть европейца, англичанина к японцу.

— Это же чорт знает что такое,— говорит мистер Райт: — это же муравьи, термиты, которых даже землетрясения не унимают!.. Это же, это же — —

— — и мистер Смит в страхе и недоумении склонен предаться метафизике! — —

2. ЯПОНИЯ — МНЕ ПОЛИЦИЯ

. . . . . .

... Я сразу открываю карты, потому что у меня нет ничего, кроме окончательного неодумения и ощущения окончательного идиотства перед японской полицией,— и ничего нет, кроме благодарности и уважения, и даже виновности — перед японской общественностью.

О полиции.

Писал уже, в японских театрах есть такие «никтошки», которых надо не видеть, но которых все видят и которые в своей невидимости — тоже — играют. Сами японцы своих секретных агентов называют «ину» — собаками. Так вот эти «никтошки-ину», никтошние собаки, много мне крови испортили.

Я начну с Китая, ибо китаи были мне увертюрой. На китайской границе у меня отобрали все книги чжан-дзолиновские ину, взяли даже Флобера, Саламбо, издание 1897 года: большевистская зараза. В Харбине на моей лекции, когда я открыл рот, чтобы говорить, подошел ко мне китае-офицеро-полицейский чин и сказал, дословно, следующее:

— Гавари — нельзя. Мала-мала пой, мала-мала танцуй. Читай нельзя.

Я ничего не понял. Мне перевели: полиция запрещает мне говорить и читать, но разрешает танцовать и петь.— Звонили по властям, волновались, недоумевали,— некоторые советовали даже лекцию мою читать мне нараспев. Петь лекцию я отказался. Этакий добрый китай: стоит, смущенно улыбается, вежливый, ничего не понимает и всем объясняет в сотый раз: — «Гавари нельзя. Мала-мала пой».— Так и разошлись ни с чем.

... Удивительнейшая, прекраснейшая на глаз страна — Корея, Страна Утренней Ясности, как она называется по-корейски, пустынная страна гор, долин, голубого моря. В вагоне, кроме нас, ехали японские офицеры, синяя весна благословляла землю,— мы сидели в обсэрвешэнкар, в стеклянном вагоне, прицепленном к концу поезда для того, чтобы из окон его можно было обозревать красоты, поистине прекрасные. Мы сидели на терраске обсэрвешэнкар, грелись мартовским солнцем, любовались белыми одеждами корейцев, точно вся Корея — как некий средневековый, белоодеждый монастырь,— корейцы, высокие, стройные, в белых одеждах, трудились над рисовыми полями. В вагоне-ресторане бои подавали медленно, в этом солнце и тепле после голубых и отчаянных манчжурских морозов. Впереди, к ночи, предстояли Фузан, Цусимский пролив, — наутро — Япония подлинная, Симоносэки.

Мои дела начались с Фузана. В тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.

— Ви — русский, ви говорите по-руски, ви грамоцный? — спросил он меня сурово, по-русски.

— Да, я русский,— ответил я.

Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:

— Ви — Бируняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газете.

Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.

— Ви — писи-писи? — ритерацура?!

— Да, литератор, пишу.

Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мною в мою каюту вошел ину, без всякого, конечно, спроса, сел, вынул листки бумаги и,— без всякой любезности, с катастрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглифами,— стал писать.

— Ви Бируняку-сан? ви грамоцный? ви писи-писи ритерацура?

Допрашивал, как во всех на Земном Шаре участках. Объяснил, что он «полиценский», агент особых поручений при фузанском губернаторе,— и стал со мною разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он поплывет со мною в моей каюте до Симонэсек, сказал ему:

— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.

Когда японский никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.

— Вы, что же, поедете со мною до Симонэсек?

— Нет, там вас другой полиценский встретит.

Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии,— он встретил меня как старого знакомого, — он был гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:

— Как вам японская полиция?

Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:

— Да, знаете, совершенно собасья дозность!..

Цусимский пролив — прекрасен, и пароходы у японцев там ходят отличные, и в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Смит, общая для мужчин и женщин купальня. Но мне было ни до красот, ни до качеств и фольклора. В Симонэсеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали имя моей бабушки, другие диктовали мне «Объявление», в коем «я, нижеподписавшийся», обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину втолкнули меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы, — и рыться в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.

Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегального, все документы у меня были в порядке, ехал я в сущ-

ности по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет.

Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой, — все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал т. Попов, председатель Масложирсиндиката, к нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «Объявления».

Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону не смотрел.

В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера, — я взвыл от полиции перед ними, — и тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти.

У меня уже в мистику разрослись слова, с которыми ко мне обращались — по-русски — ину: «ви русский? — ви грамоцный? — ви писи-писи ритерацура?»

Ину посадили нас в поезд, — поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба и синих гор, — что — передо мною сидел ину, ину дал мне свою визитную карточку, «чиновник особых поручений при Симоссэкском губернаторе», ину пытал меня, фантастически арестованного человека.

Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован, — по наивности я спрашивал это у ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.

В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Иокогамы, в моем купэ собралось такое большое количество японцев, что я вынужден был с ними перейти в вагон-ресторан. Я ничего не понимал; теперь я знаю, что те, кто выехал вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет, — пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция, кто не полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча...

Ну, и встречу же мне организовала полиция...

Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было со мною говорить, — разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась рота полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах.

На меня набросились фотографы, заполыхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем, по команде полиции, мы тронулись к выходу.

Тут уже поистине я потерял все: волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом, кто платил носильщикам, за автомобили — я до сих пор не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда тащили мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции. Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунули листок бумаги с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова: мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский атаман Семенов, что он переведет.

Тут я взвыл окончательно, бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мною, в Японии бывает со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство к полпреду Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас.

В этот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В этот же вечер японской полицией был занят особняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция выехала оттуда вместе со мною. В. Л. Копп писал в японское министерство иностранных дел; ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».

Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Ольга Сергеевна вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела голова от этих никтошек, которые считали себя вправе поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — и в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы обратился ко мне:

— Бируняку-сан, я обращаюсь к вашим человеческим чувствам, — на улице идет дождь, уже поздний час, — пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полиценскому, а сам обсохнуть...

... И все же почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии, круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-ину: в городе, в полях, в горах; когда я летал из Токио в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мною на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густою цепью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича, — ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал. — И — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мною, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходивших ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, — и каждого японца, уходящего от меня, допрашивала, допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-японцами, все равно их сейчас же отзывали в сторону, задерживали автомобиль и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция и к их домам приставила ину.

А около моего дома была лирическая картина; мой дом стоял на углу, в тесном переулочке, заросшем тенистыми деревьями, — и на другом углу был разобран забор, в заборных щелях, около хибати, грея руки и кипятя едово, сидели — очень мирно — ину; я выходил в палисадничек, смотрел на них, они кланялись и улыбались, очень вежливые. Бить их я ни разу не бил, хотя мне кое-кто и советовал.

3. ЯПОНИЯ — МНЕ: ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

...И теперь — о японской общественности, встретившей меня. За час до Кобэ, по пути в Токио, ко мне пришли представители осакских газет, и на вокзале Осака меня фотографировали. За два часа до Токио мне пришлось переселиться из своего купэ в вагон-ресторан, чтобы беседовать с людьми, встречавшими меня. На станции Токио — в безмолвии — я пережал десятки рук. И в этот

день, несмотря на то, что я и полиция окончательно обалдели в погонях за гостиницами, — полиция в погоне за мною, я в бегах от полиции, — через полицейские заставы ко мне пришли Акита-сан, Сигэмори-сан, Канэда-сан, — они пришли от Нитиро - гэйдзюцу - кьокай, от Японо-русского литературно-художественного общества, поздравить меня и пригласить к себе, — и Ольге Сергеевне они принесли цветы.

В эти дни во всех газетах была моя физиономия, и через полицейские заборы никли ко мне корреспонденты газет, — и в газетах едчайше издевались над полицией.

На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей демократической японской газеты «Осака-Асахи-Симбун», газеты с полуторамиллионным тиражом, и затем сотрудником социалистического журнала «Кайдзо».

На аэроплане Асахи я летал над Японией.

Меня переприглашали все японские театры и художнические объединения. В театре Осанаи-сана я чувствовал себя таким же своим человеком, как за кулисами МХАТ 2, — а картину Эндо-сана, подаренную с выставки, я повесил в лучший мой угол.

Мое время взяло у меня Нитиро-гэйдзюцу-кьокаи, посвятившее мне и моему приезду девятый номер своего журнала, — общество, по отношению к которому у меня нет ничего, кроме глубочайшей благодарности: оно, взяв мое время, распределило его так, чтобы я мог повидать так и такую Японию, которая европейцам не видна, — оно не побоялось полезть на рожны полиции, возило меня на Синсю, в Коганэи, устраивало банкеты, Сигэмори-сан и Канэда-сан постоянными были моими переводчиками.

Вот декларация Нитиро-гэйдзюцу:

«Россия после Октябрьской революции 1917 года показала себя во всей своей сущности, и новое творческое искусство ее привлекло к себе внимание всего мира.

«Само собою разумеется, что изучение этого нового искусства имеет огромное значение.

«В то время как наши так называемые насадители культуры склонны с пренебрежением относиться к развитию современной жизни, наша молодежь из одного угла Дальнего Востока устремляет свой пытливый взор к новым течениям мысли всего мира, и немудрено, что она самым серьезным образом интересуется также и русским пореволюционным искусством.

«Как орган, который мог бы содействовать изучению этого искусства, нами было организовано Японо-русское литературно-художественное общество.

«Цель общества заключается не только в устроении собраний, издании печатных трудов и организации лекций, но и в установлении непосредственных связей между литературным миром России и Японии путем командирования членов общества в Россию и приглашения советских художников и литераторов в Японию. Однако для успешного осуществления этой цели прежде всего необходимы взаимное понимание и дружба. Только при таких условиях мы надеемся на возможность целесообразного изучения искусства обеих сторон и на вытекающее отсюда культурное сближение их. Культурное же сближение обоих народов, как мы в том глубоко уверены, принесет крупную пользу не только обеим странам, но и всему вообще миру

«Учредители Японо-русского
литературно-художественного
общества».

Токио, марта 1925 г.

Через это общество я познакомился с японскими писателями; через это общество я сдружился с Нобори-сан и Йонекава-сан, двумя профессорами русской литературы, знатоками России, переводчиками, поделившими между

собою всех наших классиков. Можно рассказывать о дне, проведенном в Васэдаском университете, о корпусах его аудиторий и гуде лабораторных мастерских, о коридорах библиотеки, о тишине университетского (по-английски) парка. Можно рассказывать о школе гейш. О ресторанах Гинзы. О профессорских кабинетах. О цветущих вишнях Коганэи.

Мне сейчас надо утвердить, что все, что выпало мне в Японии, я принимаю никак не на мой счет, а на счет нашей советской общественности, представителем которой я был там.

Не знаю, какими путями, но я имел приглашение на «гардэнпарти» к императору и министру иностранных дел: к императору не ходил, у министра был. Можно рассказать десятки моих дней, застрявших в памяти и записной книжке, — о том, что у японцев, — в столицах и в уездах и в деревнях, — обязательно есть очередная выставка, живописная, кустарная, электрическая, сельско-хозяйственная, истории японского платья, карликовых деревьев, танки, — очередная выставка, которую надо посмотреть; о том, как после сливы отцветала вишня, и надо было смотреть гейш, новые постановки Осанаи-сана («Власть тьмы», в частности), надо слушать концерты Ямада-сана. Не память уже, а записная книжка на такое-то число подсказывала, что утром надо написать то-то, что в двенадцать придет художник, что после завтрака машина с Осэ-саном и издателями понесет — сначала на японский обед, а потом в театр и после театра в Асакуса, — что завтра с утра надо ехать к писателям, провести день с ними в загородных рисовых полях, в горных тропинках, — погрузившись на этот день в тишину японских домиков, в Японию подлинную, непонятную, — чтобы в сумерки сидеть в кабинете Йонэкава-сана, философа и мудреца, сидеть в Японии — в русских книгах,

собранных так же любовно, как собирали их подписчики «Книжного угла», в разговорах о культурах народов. Можно рассказать о старинной сйогунской столице Камакуре, о Дай Буцу там и об Острове Музыки, — острове, который вечно шумит соснами в море... И все это через заборы собакообразных никтощек, — заборы, через которые я лазил в одинаковой мере столько же, сколько и профессор Йонэкава. — Все это: мне, как писателю новой России.

4. *ЯПОНИЯ — НАМ: ОБЩЕСТВЕННОСТЬ* [1]

Теперь о том, что сделано японцами — для новой России, только в плане литературном. Я перелистываю книги, те, что лежат у меня в соседней комнате на столе, — только те, в коих сделаны пометки по-русски, ибо по-японски я могу читать только свою фамилию, — и эти книги совсем не все, переведенное и написанное в Японии.

Выписываю, — переведены отдельными книгами и в журналах:

Блок, Белый, Брюсов, Каменский, Мандельштам, Полетаев, Есенин, Эренбург, Обрадович, Дорогойченко, Колоколов, Орешин, Клюев, Князев, Маяковский, Пастернак, Владычина, Демьян Бедный, Рюрик Ивнев, Александровский, Герасимов, Кириллов, Мариенгоф, Хлебников, — все эти авторы собраны в антологии Осэ Кейси «Поэзия большевистских дней».

Переведена проза:

Вс. Иванова, Эренбурга, Зощенко, Яковлева, Федина, Замятина, Лунца, Буданцева, Касаткина, Лидина, Ляшко, Никитина, Новикова-Прибоя, Сейфуллиной, Соболя, Шагинян.

---

[1] См. глоссу XV.

Переведена (переводчик Сэгимори-сан) «Литература и революция» Л. Д. Троцкого, отдельной книгой, — переведены статьи А. К. Воронского, Когана, Львова-Рогачевского, — переведена декларация Лефа (и вышла одна книжка переводов Осэ в красной обложке Лефа).

Над переводами работают: Нобори-сан, Йонэкава-сан, Ида-сан, — профессора, — Осэ-сан, Канэда-сан, Сигэмори-сан, Фудзи-сан, Авая-сан, — одну из моих книжек перевел Хираока-сан, дебютируя как переводчик этой книгой.

Театр Осанаи-сана издает свой журнал, посвященный главным образом русскому театру.

Симфоническое общество Ямада-сана издает журнал, так же много места уделяющий русской музыке.

Передо мной, сейчас, когда я пишу эти строки, лежат шесть томов профессора Нобори-Сьому (Сьому — псевдоним), — вот названия этих томов по порядку, названия, выписанные по-русски рукою Нобори-сана:

1. «Мое впечатление от Советской России». 2. «Театр и балет революционной эпохи». 3. «Утренний период новосоветской литературы» (в этой книге, кроме общих статей, даны характеристики следующих писателей: Вяч. Иванов, Брюсов, Кузьмин, Сухотин, Блок, Маяковский, Пастернак, Есенин, Мариенгоф, Эренбург, Федин, Вс. Иванов, Пильняк, Толстой). 4. «Первый сборник новосоветских искусств» (посвященный живописи). 5. «Второй сборник новосоветских искусств». 6. «Пролетарский театр, кино и музыка».

Японцами сделано гораздо больше нас для изучения нашего искусства, — гораздо больше даже того, что сделано нами для изучения японской культуры и японского быта. Когда японцы что-нибудь делают, они делают это очень упорно. Японская государственность заботливейше отгораживается от теперешней России всякими

способами, и, в частности, книги, посылаемые почтою в Японию, даже заказною, туда не доходят: это тоже только на мельницу японской общественности. — Я, по приглашению, полученному через наше полпредство, был на выпускном акте Токийского института иностранных языков, — там собрался дипломатический корпус посмотреть, как японская молодежь учит иностранные языки, — и перед нами прошли студенты, говорившие директору института прощальные речи на русском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, индусском, малайском, английском языках. Юноши, которые окончили институт по русскому отделению, приехали уже в Россию и будут здесь совершенствоваться в языке и изучать Россию лет по восемь: и они будут знать Россию.

Я — тоже европеец, сын страны, чуждой Японии. Я только что рассказал, как меня встретила Япония, — и о том, как Япония встречает Россию. То, что было со мною, слагается из ряда элементов и — выбрасывает ряд элементов. Япония приветствует и изучает — не только Россию, но и весь мир, в Институте иностранных языков изучаются малайский и турецкий языки, — но больше всего Япония следит за Америкой и Россией: у Америки она хочет взять машины, у нас она хочет взять духовную культуру.

И совершенно ясно, что машинною и духовною культурами интересуются разные слои общества: это и есть ключ к свирепствованию по отношению ко мне ину и к заботам обо мне японской общественности, — поэтому почта не пропускает наших книг, и эти книги все же переводятся.

Япония хочет знать не только эти наши дни, — но хочет знать, и добивается, и знает — последнее столетие нашей культуры (сколь ни парадоксально это звучит для

меня!), — наши классики оказали очень большое влияние на японскую литературу и общественность.

У меня очень часто болела в Японии голова от нервного перенапряжения, от непонимания того, что со мною делалось, от насморков: я тоже европеец, сын чужой страны. И ину добились, конечно, многого: в укромных местах я сидел над записями и книгами, чтобы разобраться в этих укромностях, но я ни разу не исхитрился побывать в рабочих районах, на рабочих собраниях, — однажды я побывал на фабрике и о том, как я поплатился, об этом я рассказал. И я ничего не знаю о том, как растут и складываются силы рабочих и буржуазии: этого я не видел.

В укромных местах я узнал, что два года тому назад на площади Терономон студент Намба, первый раз за всю историю Японии, стрелял в принца-регента, ведущего род свой от богини солнца Аматэрасу, — студент Намба, бросивший университет для рабочих казарм. Этого мира японская полиция не дала мне увидать [1].

Из того же, что я читал в укромных местах, я запомнил только несколько вещей, — о том, что на бумаготкацких фабриках все письма к ткачихам перлюстрируются, и фабрики так построены, что на них нет места, где, хотя бы на момент, человек мог быть наедине сам с собою, — за заводские же заборы ткачих не выпускают: если же они мрут, их трупы сжигаются и родителям в деревни дирекция посылает пряди их волос. И еще запомнил я песенку, которую поют рабочие шелкопряды и ткачи, — в этой песенке говорится о том, что:

Если можно назвать прядильщицу человеком,
То и телеграфный столб может расцвести.

Я читал роман Эгути-сана, — такие романы писались у нас в 1904 году: газетный работник ушел в подполье,

[1] См. глоссу XVI.

в революцию, он связался со студенчеством, и он, и студенты его дружества, и его любовь были очень одиноки, одинокий кружок, никак не сумевший связаться с рабочими, с действующими силами, — и попустому, в благороднейшей любви к абстракциям и боли, они пошли в тюремные бредни. — Фарфоровым чашкам телеграфного столба, конечно, трудно расцвести: но — всяко бывает!.. В императоров стреляют и в Японии... Последний закон о женском труде запрещает женщинам работать больше 12 часов.

5. *ЯПОНИЯ — МИРУ*

...Ину добились, чтоб я много не видел. Экономические справочники и экономисты рассказывают следующее, статистически. Это следующее — кратчайше — сейчас изложу. Это следующее я поставил себе к тому, чтоб ответить на вопрос о том, какие силы дали японскому народу, единственному цветному народу, противостать против белого человека. — И это следующее показало удельный японский вес.

Причины, давшие Японии возможность капиталистически развиться:

1) наука и техника, готовая из Европы,
2) дешевый труд,
3) удачные Японо-китайская и Японо-русская войны,
4) жесткая таможенная политика (в связи с войнами) по отношению ввоза и протекционизм по отношению к национальной промышленности,
5) барыши Великой войны.

Теперешнее состояние экономики:

1) отсутствие дальнейших ресурсов-объектов, к которым была бы применена американо-европейская техника (отсут-

[1] См. глоссу XVII.

ствие неразработанных естественных богатств, — железнодорожное строительство выполнено на 100%, судостроение после войны, гиперболически развившись во время войны, пало,

2) проекционная промышленность развита до предела,

3) вздорожание труда, лишающее возможности конкурировать товарами по стоимости их производства,

4) заполнение рынков как внутренних, так и внешних (Китай, Дальний Восток).

Экономические перспективы Японии и ее начинания — единственны: дальнейшее расширение промышленности за счет улучшения техники. Но такая возможность ограничивается:

a) имеющимися уже странами с высококвалифицированной техникой и массовым производством,

b) отсутствием в Японии национальных естественных богатств-ресурсов (нефти, руд, каустики),

c) главный предмет экспорта — шелк-сырец — не имеет перспективы к дальнейшему развитию,

d) отсутствие возможности империалистического захвата рынков.

Главным конкурентом Японии на Дальнем Востоке являются Северные штаты. Япония готовит плацдармы для войны с Америкой. Но Япония сидит под пятой американцев, ибо — единственное богатство Японии — шелк-сырец — покупается только Америкой — 40% всего японского экспорта... Железо японцы ввозят, вырабатывая $^1/_2$% того, что вырабатывает САШ.

Кэнсэйкай, партия японской индустрии, верхушка госдеятелей, на последней парламентской сессии выдвигала программу — следующую: Япония должна понизить стоимость своего производства и улучшить качество продукции. Для этого надо — всей нации — понизить

стоимость жизни, стоимость питания. Для этого придется разорять крестьянство, направив его в эмиграцию, в Корею, на Формозу, в Бразилию. Парламентом введено учреждение, нечто вроде нашего Наркомвнешторга, контролирующее экспорт, выдающее премии за качество. Японцы завязывают торговые сношения всюду, проникают даже в Турцию, в честь чего в Токио строится мечеть. Но главный их рынок — Китай — сейчас похож на такие темные воды, в которых нельзя уже ловить даже рыбу, Япония везла в Китай текстиль и продукты малоценного и очень емкого рынка, — все это сейчас начинает делать китайская национальная буржуазия. А Японии надо строить пушки, дредноуты, крепости, ибо Япония собирается воевать с Америкой, и потому, что Япония живет в местах, где сохранилось еще самое обыкновенное пиратство и — по-колониальному — все решается пушками как стоящими на земле, так и теми, которые палят с дредноутов.

Вторую страницу сейчас я пишу, стараясь быть экономистом, — и знаю, что, чтоб писать так, надо перестроить все, написанное мною здесь, и знаю, что никогда ничего не надо делать скандачка, не только в тех вопросах, где речь идет о государственной политике. И вот свидетельствую, что в Японии — очень многие дымят заводы, очень многие головы внимательнейше заняты вопросом, как жить этому нищему государству. Да, — н и щ е м у, — и потому, что они живут в шалашах, едят ракушек и одеты в бумажные тряпочки, и потому, что мистер Смит чистосердечнейше возмущается неумением японцев делать хорошие вещи, умением японцев делать только суррогаты всяких недоброкачественностей, — и потому, что их национальные данные, богатства и возможности, чему свидетелем приведенные выше экономические выписи — нищи — —

— — и потому, как писал уже выше, что века мудрости японского народа приучили японцев отказаться от вещи, — приучили — и века мудрости и дожди, в которых все плесневеет, и вулканы, — когда японцы, вместо каустики, рентою имеют организованные нервы, нервы, организованные в волю.

Уезжая из Японии, — от Японии до России я проделал такой путь:

Токио — Кобэ — Симонэсеки — Фузан — Мукден — Дайрэн (бывший Дальний, около Порт-Артура) — Тяньцзин (морем) — Пекин — Ханькоу — Нанкин (пароходом по Янцзы-Цзян) — Шанхай — Владивосток (морем).

Так вот, в первый раз после Токио, проехав всякими путями через весь Китай, — впервые я показал паспорт и развязал чемоданы по требованию начальства — во Владивостоке, ибо только для Владивостока было неавторитетно, что я еду из Японии.

Да, весь Китай прошит японцами. Нечего говорить о Трех Северных провинциях, где сидит Чжан Цзо-лин: это — колонии японцев без всяких фиговых листочков. Когда я ехал в Японию, меня распоясывали на каждом перекрестке, — когда я катился с японских гор и от японских ину, меня уже никто не трогал. — Япония! — на Востоке звучит страшно. И по всему Китаю, сшивая его нервами железных дорог, банков, торговых контор, фабрик, концессий, сидят японцы. Известна ненависть китайцев по отношению к японцам, — но тем не менее, в писательских, в профессорских, в читательских китайских кругах — японская общественность, японская литература, японское искусство, японские книги и журналы, японский язык — занимают такое же место, как у нас в России у интеллигенции до революции все французское. Пекинская и шанхайская профессура знала мое имя не по европейским и русским источникам, а по японским,

показывая мне журналы, где было написано обо мне или мое было переведено. — И оттуда, из Китая, мне было совершенно ясно видно, что н и щ а я Япония — о ч е н ь с и л ь н а, потому что не только пароходами, опутавшими весь Дальний Восток и захватившими крупнейшие европейские и американские рейсы, не только фабриками, но и книгами и паспортами (которых не требуется) они популярны, очень популярны и сильны на Дальнем Востоке.

Я закрываю глаза и восстанавливаю образ индустриальной Японии, «европейской», колонизаторской Японии: я вижу первомайские токийские манифестации рабочих, слышу поступь рабочих союзов в красных и белых плакатах; — я вижу этих маленьких людей, имеющих — на глаз европейца — одно лицо; — я слышу гуды пароходов, фабрик, заводов, паровозов; — я обоняю каракатический запах туши в банкирских и заводских конторах; — мне кажется, я вижу голые нервы; — я слышу вопли студента Намба в тюремном застенке, студента, стрелявшего в принца-регента; — я слышу шум гэта; — я слышу одиночество идущих в океанах пароходов, громыхи пушек на маневрах, шелест иен в кассах и на прилавках; — мне страшно представить японского солдата, который, по японскому принципу «наоборотности», бежит в атаку хохоча, похожий на японских чортоподобных богов; — страна маленьких черных людей, крепких, как муравьи, эта страна живет очень крепко, очень упорно — тем, чем живет всякая капиталистическая страна, — и как в каждой капиталистически-феодальной, империалистической, колонизаторской стране, слышны хряски рабочих мышц, сип машин и: видны зори революций, — слышны кряки феодальных осыпей, шопоты преданий старых замков. — Я слышу твердую поступь рабочих армий и понимаю, что мои ину — так же уйдут в легенды, как

в легенды ушел камакурский Дай-Буцу и остров Миадзима, тот остров, где никто не родился и не умирал и о котором можно прочесть у Бласко Ибаньеса, — и я слышу шум организованных нервов...

6. ПИСЬМА КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ ФОРМУЛ

. . . . . .

Вот отрывки из моих писем, которые я писал друзьям из Японии: — —

«...ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Японии, — кроме того, что все кругом меня таинственно и чудесно, что каждый новый день несет мне новые невероятности, которые я осмысливаю величайшими головными болями, — кроме всего этого, слагающегося из вещей, лежащих перед моими глазами, — мои ощущения, мое состояние в этой таинственной стране определяется еще тем, что я оказался глухонемым и безграмотным человеком.

«Поистине я безграмотен. Я не могу написать письма и надписать адреса на конверте. Я не могу прочитать ни одной вывески, даже названья улиц, — и, стало быть, я не умею написать даже адреса того дома и той улицы, где я живу, т. е. я не знаю, где я живу. Нечего говорить о газетах, где даже статьи обо мне я воспринимаю, как дикарь — тем, что там напечатана моя фотография. Но у безграмотного, и у меня в частности, развиваются свои способы ориентации. Я, как волк в лесу, хожу улицами не по печатным приметам, а по приметам домов, световых реклам, перекрестков. — Но я к тому же и глухонем, ибо я не могу сказать ни одного слова и ни слова не понимаю, что говорят мне. На улицах я вынужден говорить знаками, как говорило человечество десятки тысяч лет тому назад, — но и тут меня преследуют всяческие трудности, ибо мой европейский жест японцы понимают как

раз наоборот: я говорю жестом, — «поди сюда!» — и человек уходит от меня.

«Все же я преборею улицы и прочие расстояния. Не надо много фантазии, чтобы представить, каких трудов все это стоит, когда язык и грамоту я должен заменить глазами и когда до смысла вещей я перелезаю через заборы переводов. Мне иногда начинает казаться, что мои глаза заболевают. И очень часто к вечеру мой мозг оказывается изжованным, как тряпка, которая перестиралась сто раз... — —».

И вот второй отрывок:

«...я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство, — формование тех эмоций и образов, которые прошли через мое сердце и через мой ум, — формование их в рассказах и повестях, — формование по тем принципам, что искусство, как все прекрасное, вечно присуще человеку, — и писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения жили не только сегодняшний день. — И я должен сказать, что это мое путешествие в Японию, вне зависимости от тех знаний, которые я приобрету знанием Японии, — дало мне огромный короб таких эмоций и переживаний, какие не сможет дать ни один университет, ни сотня прочитанных умнейших книг.

«И ничто не выветрит из моей писательской кухни твердого утверждения и знания, что ничто не статутно на этом шаре земли, где живу я и человеческие цивилизации, — что жизнь земного шара и очень дряхла, если есть такие старые, тысячелетние культуры, как восточная и европейская, такие, которые тысячелетия жили, не зная друг о друге, — и — что жизнь людей Земного

Шара — очень молода, ибо еще так много надо сделать человечеству, чтобы человек Москвы понял человека Токио и чтобы эти двое поняли человека с реки Конго. Ибо — только в Японии я окончательно почуял и понял тот великий путь, то новое переселение народов, правд и верований, в которые пошли народы и правды в эти столетья, когда весь Земной Шар отправился сливаться общностью знаний и общностью культур, осуществляя геометрическую формулу шара — —».

Выписей из писем — достаточно. Из всех стран, изборожденных мною, Япония больше всех сохранила свои национальные черты, — и больше очень и очень многих стран, виденных и знаемых мною, Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу — культуры не национальной, а человеческой, Земного Шара. Я был в Институте иностранных языков, это только пример. И только пример, что все японцы ходят в кимоно и в кимоно читают газеты. Двести тридцать лет тому назад, при Петре первом, когда Россия принимала Запад, первое, что она приняла, это были — платье, манера держаться в обществе: национальная одежда в России совсем исчезла и, если она где-либо сохранилась, она указывает, что туда никакая культура не заглядывала. И того, что случилось со мною, когда я в Японии оказался глухонемым и безграмотным, с японцами — не случается: японский писатель Акита-сан собирается в Россию, и он сейчас изучает русский язык, — если японец поедет в Россию, он будет знать русский язык. Люди Земного Шара идут по пути слияния общечеловеческих знаний и обобществления культур: рабочая Япония всячески готовится к этой дороге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. ЯПОНИЯ С АЭРОПЛАНА

На рассвете меня разбудил студент Попов, мои ину сидели уже в автомобиле, и по пустым улицам автомобили понесли нас в редакцию Токио-Асихи. В редакции спал на столе в кимоно сотрудник, говорящий по-русски. Моих собак собралось внизу штук уже десять, шоферы в гараже разводили автомобили. В тишине, которая казалась древней, шествовало утро, смоченное росой. Разместились в автомобилях, два ину, делая вид никтощек, влезли на автомобиль, сели на сиденья передо мною, — и узкими улочками, тенистыми дорогами, рисовыми полями, деревушками — мы поехали на аэродром, за сорок километров от Токио. Фудзи-сан предстал перед нами еще с автомобиля — розовая в солнце снеговая пирамида, опоясанная облаком.

...Я схожу с автомобиля, иду к аэродрому, роса садится на ботинки. На старте стоят два самолета. Один из них унесет меня в воздух, — на нем я полечу над Фудзи-сан, над морем, над японскими горами. С другого будут фотографировать меня для газет в воздухе. Я здороваюсь с человеком — пилотом Осима-сан — с человеком, которого я вижу первый раз и, должно-быть, последний, — который унесет меня в воздушные стихии.

Самолет — двухместный биплан. В войну 1914—1918 годов такие аэропланы несли военные задачи в качестве истребителей. Самолет — рабочий, не молодой, такой,

который давно стал уже возчиком газетных корреспонденций Асахи-Симбун из Токио в Осака. И я лечу на нем из Токио в Осака, вместе с газетной почтой.

Начальник аэродрома отдает мне свои кожаные штаны, я надеваю два пальто, шлем, креплю над моими очками очки-консервы. Каждые сто метров ввысь теряют температуру на один градус, — и там, в высоте двух тысяч метров над землей, я буду в страшном ветре и морозе, в зиме. Мое место — место наблюдателя — открыто всем ветрам. Фотограф стреляет в меня аппаратом в тот момент, когда я влезаю в кожу штанов, завязывая их над пиджаком подмышками. Я лезу в свою кабину. Ремнем я привязываю себя к скамеечке. Я осматриваюсь в новом моем жилище, в том, где я проживу Японию в полете. Троссики хвостового оперения, руля глубины, ответственнейшего рычага управления самолетом, открыты, идут около моих колен: — я знаю: — если в воздухе я коснусь их, порву их, помну, — машина не управляема, нам останется только камнем лететь вниз. И я соображаю, что двигаться мне — нельзя: это совсем не то, что барином лететь в Юнкерсе или многоместном Фоккере. Под ногами у меня отверстие, такое, в которое я буду с воздуха видеть то, что будет у меня под ногами. Пилот садится в свою кабину.

Мне говорят, что второй самолет поднимется в воздух следом за нами: когда тот самолет будет около нас и мне махнут рукою, я должен подняться из кабины, чтобы меня было виднее, ибо меня будут фотографировать в воздухе. — Механик разворачивал пропеллер.

Я вижу только голову пилота: черным покойным глазом, птичьим глазом, он взглядывает на меня, спрашивая — готов ли. Я отвечаю ему улыбкой. Мои собаки стоят кругом, смотрят, вытянув носы.

Мы бежим по аэродрому. Земля рвется из-под нас. И вот земля качнулась под нами. Мы в воздухе. Я вижу,

как земля стала на бок, как аэродром поплыл вниз. Пропеллер ревет. Ветер бьет в лицо и плечи. Люди, стремительно уменьшающиеся, машут нам с земли. Мои ину задрали головы и тоже машут руками. Я тоже хочу помахать руками, машу, — и ветер хочет оторвать мою руку. Но вот рядом с нами возникает новый рев, я гляжу: в десяти саженях от нас налево я вижу другой самолет. Мне машут оттуда. Я отдаю честь. И с того самолета стреляют в меня фотографическими пленками. Все это длится несколько секунд, потому что минуты в воздухе равны часам земли: не только потому, что в минуту самолет проходит почти столько же, сколько человек в час пешком, — но и потому, что в стихиях воздуха нервы напряжены сто крат крепче, чем на земле. Мы кланяемся друг другу, — и соседний самолет ласточкой оборачивается назад.

Я один. Я один, потому что за воем пропеллера ничего не слышно. Я один, потому что тому человеку, который сидит впереди меня, даже если бы и мог крикнуть, я ничего не могу сказать, ибо он не знает моего языка, а я не знаю его. Птичий его покойный глаз взглядывает на меня, я улыбаюсь ему. Я один со стихиями. Широчайший простор моря и гор под нами, — и только Фудзи-сан рядом с нами.

. . . . . .

Я один со стихиями. Каждая минута полета равна часам земли. У меня бесконечное количество часов, чтобы думать. — Я знаю упоение полета, — упоение стихиями, упоение борьбы со стихиями, с неподчиняемым, с непознанным. Для меня полет — неизъяснимейшее наслаждение, такое, которое так трудно передать словами. Пропеллер рвет воздух. Мимо нас, моего лица рвется и орет ветер, стихия, которую мы покоряем. Земля там внизу, — земля долин, похожая на шахматные доски,

и земля гор, точно горы кто-то просыпал с неба, — земля там внизу живет своею жизнью. Домики кажутся спичечными коробочками, — города — географическими картами, — горы — теми горушками, которые строятся в луна-парках. Когда с большой высоты на самолете идешь быстро вниз, — звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам, густея, бежит кровь, чуть-чуть мутит: стало быть, чем выше идешь в беспредельности, тем спокойнее кровь, нет никакого звона и есть неизъяснимое наслаждение полета.

Я — один. Мы — аэроплан, пилот и я — мы одни в стихиях. Земли и горы там внизу — не в счет. Мы не можем даже сесть на землю, ибо там в горах нет такого места, где могли бы мы сесть, не разбившись. И вот тут в этих стихиях рядом с нами — попрежнему величественный, в снегах, в спокойствии, прекраснейший Фудзи-сан. Только с неба я увидел, как величественен он, в белом спокойствии снегов величествующий над всем остальным, опоясанный облаками, скрывший свою вершину от людей с земли и видный только нам, летящим в небе.

Я один. С детства у меня есть поклонение перед человеческим гением, перед человеческим трудом и умом, перед тем величественным в человеке, что дает ему право покорять стихии, побеждать стихии, подчинять их себе. Самолет — величественнейшее, прекраснейшее изобретение человеческого труда и ума. Здесь, в стихиях воздуха, нас двое: пилот и я. Сегодня я увидел его впервые, — должнобыть, я больше никогда не встречу его. Я ничего не знаю о нем и ничего не могу сказать ему. И, все же, я знаю, что пилот Осима-сан — здесь в стихиях воздуха — мне брат, в том братстве, когда человек человеку брат потому, что оба они человеки. Около меня проходят троссики руля глубины: стоит неловко мне задеть их, и мы полетим вниз, в лепешки сырого человеческого мяса — или печеного, если от трения с воздухом вспыхнет

самолет. Стоит зазеваться пилоту, неправильно нажать руль, — и мы полетим вниз, в смерть. Наши жизни связаны опасностью смерти — или здравием жизни — и мы — братья, связанные жизнью. Наши головы на плечах, — и пилот поглядывает на меня птичьим глазом, я отвечаю ему улыбкой. И я покоен, ибо впереди меня сидит брат-человек, несущий меня по воздуху.

И так я думаю не только об этом нашем полете: в том полете Земного Шара, в тех его путях, которыми мы живем сейчас, не только Осима-сан и я — братья в праве на жизнь, но именно в этом праве должны братствовать и народы: — по воздуху нас несет самолет, наши жизни связаны самолетом, — мы летим по воздуху волей человеческого гения, подчинившего стихии машине. И здесь, около Фудзи-сан, я думаю о человеческом гении и труде: это такое поле для размышлений, где нету конца, ибо человеческий гений, облеченный в труд и машину, не знает конца, побеждающего мир...

...Облака заволакивают землю. Мы летим над облаками. На моменты земля исчезает внизу, закутанная облаками. И вот момент, который я запомню навсегда, как прекраснейшее из того, что я видел — — земли под нами — нет, там облака, мы над облаками, над нами синее небо и бесконечный, прекрасный свет, — и — кроме нас — над облаками — Фудзи-сан: мы и Фудзи-сан — над облаками, над землей — извечный, таинственный, метафизический для японцев Фудзи-сан и мы, залетевшие за Фудзи-сан волею человеческого гения. Таинственные, непознанные силы природы, мистически олицетворяемые японским народом во образе Фудзи-сан, и человеческий гений труда — встретились, побратались красотою за облаками.

. . . . . .

Есть упоение в полете!..

Мы вылетели в восемь часов пятьдесят минут. Мы вылетели золотым утром, в солнце и сини далей. Бегут минуты, которые здесь в высоте кажутся часами. Ветер свистит, воет, рвет. Фудзи уже позади. Мы летим над долиной, идущей от Фудзи к бухте Суруга, к сини моря. И вдруг наш самолет становится на бок. Мы скользим на крыло вниз. Ветер воет над головой и звенит в ушах. Но мы уже кинуты ветром вверх, встаем на дыбы. Сердце в неизъяснимом блаженстве. И опять земля стала к нам боком, боком мы летим над землей, небо слилось вдали у горизонта с морем, — и за небо нам стали море и горизонт. Земля поправила под нами свое положение. Ветер рвет, воет, мешает дышать: ветер швыряет, бросает, кидает самолет — вверх, вниз, направо, налево. Ремень на моем животе то делается в вес моего тела, то тело невесомо, то давит оно на сиденье, точно хочет его продавить. Я понимаю: мы попадали в так называемые воздушные ямы, в полосу разнобойных воздушных течений. Я понимаю, почему пилот уходит все ввысь и ввысь: там меньше опасности, если самолет будет опрокинут ветром, — нам сейчас опасна только земля: если мы заденем за нее как-нибудь неловко, не успев выправить положения, — тогда — смерть. — Можно подумать, что самолет ожил, сердится, хочет нас сбросить с себя, — и я крепко держусь, чтобы не вылететь и — чтобы не задеть за те троссики, которые таят в себе смерть. Мы в огромной высоте над землею, и холод бежит по лопаткам, леденит руки. — Опять стихии ветра кидаются нами, я крепче сжимаю мышцы, чтобы не вылететь, — и я вижу покойный птичий глаз пилота.

Мы вылетели золотым утром широких далей. Я смотрю кругом. Далей уже нет. Не только море, которое слилось с небом, но и земля ушла в синюю мглу, слила с небом свои горизонты. Мы летим над морем — над Великим,

Тихим океаном. Океан под нами, — и глаз обманывает, точно небо обернулось вокруг нас: небо внизу, небо слева, небо над нами, — и только справа небольшой кусок земли, гористый там, куда достигает глаз, и похожий на тучи там, где глаз теряется во мгле. Мы идем выше и выше. Вот мы пролетаем сквозь сырость облаков, рвемся через облака: эти вечные странники — тут, рядом, окутывают своею холодной сыростью. Самолет рвется через них. Мы над облаками. Земля прорывается внизу так же, как небо, когда смотришь на него в облачный день с земли. — Это тут, в этом месте, я попрощался с Фудзи-сан, поклонившись его красоте. — Ветер рвет, ветер кидается облаками и самолетом. Земли не видно. Я судорожно, в морозе, сжимаю руки. Мы вырываемся из-за облаков: и невероятное зрелище я вижу на земле, такое, которое кажется олицетворением Японии. Под нами идут тучи, тучи льют дождями, — и земля под тучами: она черна, она зловеща, черная в черных тенях облаков, — страшная, злобная земля, изорванная горами и долинами, разметанная камнями, лысыми вершинами, полыхающая в свинцовых тучах молниями, злобная, страшная земля, похожая на чортоподобных японских богов. Мы летим в лохмотьях дождевой тучи. Ветер и тучи кидают самолет без всякого толка. И опять можно думать о непонятности Японии для европейца, о тех двух силах, которые сохранили в Японии чортоподобных идолов и — кинули наш самолет за облака... но — думать уже трудно — —

. . . . . .

Мышцы немеют от холода и напряжения. Самолет уже беспрестанно мечется ветром. Мне на земле сказали, что мы пролетим два — два с половиною часа. Я слежу за временем: мы летим уже два с половиною часа. Я вынимаю карту, сверяю те затуманенные тучами и облаками клочки земли, которые видны, с картою, — и ничего не понимаю:

кажется, мы сделали только полдороги, если залив под нами есть бухта Исэ, — или — это уже бухта Осака, — но самолет от моря сворачивает на землю. Я ничего не понимаю. Я прячу в карман часы и карту, чтобы вновь неметь от оцепенения в новом шторме воздушных волн.

Опять я смотрю на часы. Мы летим уже три часа двадцать минут. Я ничего не понимаю. Я вижу: мы летим к горному перевалу. По вершинам гор идут облака. Чтобы перелететь через эти горы, надо подняться над облаками, ибо в тучах лететь невозможно, ибо в тучах сразлету можно налететь на горы. Тучи и облака стали сплошною стеною вокруг нас.

И — вот последнее величественнейшее ощущение — там, за тучами. Вопреки всем моим понятиям об авиации, самолет стал, повиснул в тучах. Я понимал, что лететь — некуда, ибо полет в облаках все равно, что полет с завязанными глазами, — но как пилот сделал, чтобы самолет остановился, — я понял только потом, когда мне объяснили, что пилот повиснул в воздухе штопором и что — тогда мы были в гибели. Пропеллер ревел, выл мчащийся ветер. Но тучи стояли неподвижно, — они летели, как прежде, стремглав мимо нас, — они только потихоньку, медленно ползли вниз. Я понимал, что творится нечто невероятное, — и природа, должно быть, поняла это же, ибо самолет перестал болтаться. Груды облаков щемили нас. Я посмотрел на часы: мы летели четыре часа. Я убрал часы, чтобы больше уже не смотреть на них, и мне очень хотелось закурить. Я понимал, что мы только в руках природы, госпожи стихии, сколько бы мы ни стояли на месте: бензин ведь пределен, и, если тучи не разойдутся, все же вынуждены мы будем итти — и вперед и вниз.

И вдруг: качнулись тучи, раздвинулись две громады облаков, — и в щели между ними стала видна золотая

в солнце земля, — и камнем стремительно кинулись мы в эту щель, к земле, за горный перевал.

Через четверть часа была Осака. Птичий глаз пилота улыбнулся мне, я ответно улыбнулся ему. Пилот рукою указал вперед: в синей мгле в долине я увидел город. Горный хребет был позади. Мы пролетели над замком и сели на аэродром.

Окоченевший, с истомленными мышцами, под выстрелы фотографа и в руки осакским шпикам, веселейше я вылез из кабины. И первое, что я спросил через переводчика, обращаясь к пилоту, было:

— Какою надо считать сегодняшнюю погоду?

Пилот ответил мне:

— Мы попали в воздушную бурю!

. . . . . .

Я знаю, что пилот Осима-сан, с которым я никогда больше не увижусь, — есть — мой брат, с которым мы вместе крестились правом на жизнь. Я знаю: та машина, на которой мы летели, несовершенна, маломощна, — но, во-первых, эта машина вошла в будничный обиход, она перевозит почту газеты Асахи, служилая, как любой экипаж, — и, во-вторых, пусть она маломощна, с братом Осимою я полечу куда угодно, хотя я и не утерял, как он, инстинкта боязни индивидуальной смерти. И с образом Осима-сан у меня связывается образ всей Японии, о котором я писал в «шуме гэта».

2. ЯПОНИЯ ДО ЯПОНИИ, КОРЕНЬ СОЛНЦА

Иероглиф Японии — Страны Восходящего Солнца — есть К о р е н ь С о л н ц а. Япония — есть К о р е н ь С о л н ц а.

Британия несет свое имя от бриттов, живших когда-то на острове Британия. Имя Франции произошло от франков. Моя родина, Россия, ныне утерянное свое имя несла

от норвежского племени русь. Япония имя свое несет от солнца, Страна Восходящего Солнца. К о р е н ь С о л н ц а! — Я поехал в эту страну корней, чтобы увидеть эти корни и чтобы увидеть тот народ, который живет у этих корней.

Та страна, которая назвала себя Корнем Солнца, лежит на востоке от Москвы в одиннадцати тысячах километров,— те зеленые острова, которые до сих пор не приняли окончательной формы и дышат вулканами в судорогах землетрясений. Каждые сутки моего пути из Москвы в Японию были не в двадцать четыре, а в двадцать три часа. Астрономы знают, что так получалось благодаря вращению земли: мне казалось возможным острить, что сутки сокращаются не механикой астрономии, а тем, что я еду к корню солнца.

Есть такое утверждение, что человеческие культуры в своих путях переходят в цивилизации, — что, подобно биологическим организмам, организмы человеческих культур, рождаясь, молодеют, мужествуют и затем умирают. Это утверждение говорит, что Земной Шар сейчас переживает эпоху заката, эпоху умирания европейской культуры, осклерозившейся цивилизацией. Диалектический марксизм не любит пестрых слов, и он подтвердит это будничной статистикой. Прогноз величайших катаклизмов строится никак не на идеалистических теориях, — но на реальнейшем соотношении экономических сил, на той скучной науке, которая называется экономикой и которая черным по белому указывает на многие страшные для Европы вещи, например, на то, что центр капиталистической культуры и мощи покинул Европу, — пока поселился в Америке, — неизвестно, где и при каких условиях окажется через двадцать лет, — но известно, что в Европу при нынешних делах не вернется, и Европа, как завод без сырья и сбыта фабрикатов, задыхается. Эти годы — двадцать второй, двадцать третий,

двадцать пятый — я бродил по Европе. Я ходил по ней и по горизонталям ее — от Лондона до Берлина, от Берлина до Афин, Яффы и Константинополя, — и по вертикалям — от крестьянских и рабочих домиков до кабинетов парламентских и министерских деятелей, до кабинетов европейских писателей и ученых, — и я знаю, что в Европе н е б л а г о п о л у ч н о. Неблагополучно потому, что не дымят заводы и падают всяческие франки, потому, что тысячи голодающих безработных толпятся около профессиональных контор. Неблагополучно потому, что Запад замирает не только заводами, но и еще некиим, что трудно передать словами: тем, что европейские индивидуальности стали походить на их соборы, построенные из известняка, тем, что во всяческие тупики залезает европейская духовная культура, вырождаются литература, театр, музыка, — тем, что Запад казался мне все время огромным ледником, древним ледником столетий, из-под которого человеческие индивидуальности, еще не осклерозившиеся, рекою бегут в революции, а ручейками — в Америку, в Аргентину, в Индию, в Китай. Мне это было особенно видно, потому что я есмь сын страны, которая исторически не есть ни Европа ни Азия, — отъезжее поле, воспринявшее в себе и европейскую и азиатскую культуры.

И известняки Европы обратили мои глаза на Восток.

И мой взор остановился на Японии, на корне солнца, ибо большою задачей казалось мне увидать то н о в о е солнце, которое поднимается с Японии, с этой единственной не порабощенной белым человеком цветной нации, живущей на вулканах...

Впрочем, надо подробно.

Япония — племянница ассирийской и египетской цивилизаций. Осенью девятьсот двадцать пятого года я бродил там, в развалинах Анатолии и Палестины. Там только

камень да пыль, да солнце, сжигающее все. Там даже камни не помнят о том величии цивилизаций, которые были здесь когда-то. Там пустыня, зной и умирание, — там даже не сохранились развалины. — Ассирийская и египетская цивилизации породили греко-римскую. Я был в Афинах. Там только камни говорят о прошлом эллинов, камни мрамора, выжженные солнцем дожелта, — но люди там уже не помнят отошедшего тысячелетья, торгуя правительствами и маслинами. — Древняя греческая культура, совместно с римской, породила европейскую. Есть утверждение, что и эта последняя — капиталистическая — идет к смерти, — что недолог тот срок, когда в Европе, так же как в Анатолии и в Афинах, только камни да археологи будут помнить о черчиллевской Европе.

Но за десятком тысяч километров на восток от Европы жила и живет страна, сверстница прабабки европейской цивилизации, той цивилизации, которая дохозяйничивает всем Земным Шаром. И теории Шпенглера — рушатся, — рушатся потому, что никому из европейцев неизвестная страна, лежащая на островах, не остывших еще от вулканической деятельности земли, страна, знающая в своей истории национально-монастырское затворничество на два столетия, как раз те, которые дали мощь Европе, — страна, которая, казалось бы, окончательно объизвестняковилась и, по Шпенглеру, умерла, — вдруг, неожиданно для мира, каких-нибудь шестьдесят лет тому назад бывшая в феодальном затворе, — вышла на мировую арену молодой, здоровой, сильной, бодрой, организованнейшей державой, — неожиданно для мира в каких-нибудь тридцать лет стала великой державой в том смысле этого слова, как его понимают европейцы, — европейски-великой державой. Тысячелетний быт, создавший свою особливую ото всех народов мораль,

этику, эстетику, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин и пушек — и всего, что стоит за ними.

Большая цель — узнать, какою мудростью сочетались в японском народе старое и новое, как примирились они, почему, — какой корень солнца у этой страны.

...И еще. В феврале, когда я уезжал из России, всем моим путем лежали белые снега, глубокие пласты белого снега, — а золотая в солнце и синяя в море Япония встретила нас дозревающими апельсинами в зелени апельсиновых рощиц и белым цветом сливы. Полуденный час Японии совпадает с третьим московским часом ночи, тем по библийскому преданию, когда не пели еще вторые петухи. Утомительно гоняться за луною и обгонять ее, — утомительно так быстро, как Великим Сибирским путем сматывать версты с запада на восток: часы показывают двенадцать дня, а на улице уже ночь, — а, если часы все время ставить по бегущим мимо станционным часам, то часы показывают пять вечера, а тебя всяческими свинцами клонит в сон, в двенадцать же ночи ты просыпаешься, точно это час дня. Ты стремишься на восток, луна уходит на запад, — и странно наблюдать, как ты съедаешь луну.

Разные могут быть цели бродяжеств. Существеннейшие из них — вот, две. Про первую уже сказано: узнать, какой корень солнца у этой страны, у этих стран. И еще вторая. Человеческий мозг, человеческие знания и тот мир, который раньше назывался духовным, а ныне на русском языке определяется только иностранными словами, — человеческий мозговой, духовный и душевный мир, чтобы не ржаветь, очень нуждается в том, чтобы его точили, как бритву: тогда он, не в пример бритве, делается мягче, точнее, правильней. И очень хорошими оселками для бритвы мозга, глаз и раздумий (тех, когда

думаешь уже не мозгом, а, быть может, иероглифами) — есть путешествия в пространства, никак не менее значимые, чем путешествия в книги и во время истории. Не для Японии, а для себя я поехал в Японию, взяв ее за тот оселок, на котором хотел я поточить самого себя, — в пространствах, глазами, раздумьем, — на том обрыве, где Азия вулканами Японского архипелага обрывается в Великий океан, в том рве, где сшиваются две величайшие культуры, все предопределяющие культуры Земного Шара — восточная и западная, — где западная культура прет и с востока, с Америки, а восточная, рассыпаясь в песках пустыни Шамо, обрывается в Тихий океан.

Учиться — по-японски — обдумывать старину.

3. ЯПОНИЯ — ДЛЯ МЕНЯ

...Там на шве двух культур, на обрыве, которым — вулканами — обрывается Старый Материк в Великий океан, — за несколько дней до моего отъезда из Японии — была такая ночь. Нас было пятеро. Ольга Сергеевна, замнаркомпуть Серебряков со своим секретарем Шубом, я и чиновник японского министерства железных дорог Яманака-сан. Днем мы уставали, железной дорогой, автомобилем: к тому, чтобы приехать в Атами, к минеральным источникам, на курорт, поместившийся под горою у самого берега океана, у самых волн. В отеле было пусто, кроме нас японствовала семья японцев. В сумерки мы ходили в минеральные ванны, фотографировались, обедали. Вечером мы ходили в соседний городок, бродили по улочкам, покупали кисточки, которыми пишут. Оттуда порешили пойти берегом моря, вошли во мрак деревьев, в каменистые тропинки, повисшие над обрывами, в заборчики из кротегусов, в шум океана над обрывами. Так мы шли с час. Становилось все темнее, глуше, отвесней, тесней и каменистей, — океан внизу уже не шумел.

Сначала мы подозревали, а потом стало ясно, что мы заблудились. Все же мы шли камнями тропинки. И впереди тогда мы увидали огонек, в густой чаще деревьев. Мы подошли к лесному домику. Яманака-сан утвердил, что мы заблудились, поднявшись в горы, к леснику. Лесник дал нам бумажный фонарик на палке, новую указал тропинку, — и еще добрых часа два мы шли до нашего отеля. Отель глубоко спал. Мы были утомлены самой настоящей усталостью, той, от которой надо сейчас же валиться в сон, и, если не свалишься, можно будет еще часы сидеть, за счет уже нервов. Нам выпало второе. Шуб и Яманака-сан заснули. Мы же втроем засели у меня в номере. На столе стояли незнакомые, очень пахучие цветы (от которых на другой день у меня болела голова). Была очень черная и тихая ночь. Во мраке ворчал океан. Цепь огней железной дороги уходила в горы. Было очень тихо. И мы, трое россиян, на берегу чужого моря, в чужой стране, среди непонятных людей — были той ночью одни-одинешеньки, мы устали самой будничной усталостью, нам было немного скучно, и нам не хотелось спать в этот заполночный час. Все в мире относительно и все правомочно. И тогда мы выдумали игру. Мы взяли почтовую бумагу и стали писать письма так, чтобы я, написавший, передал мое письмо соседу, который, не читая его, надписывал адрес на конверте. Потом, написав десяток таких писем, положенных уже в конверты, мы прочитали их. Одно из моих писем пошло в город Тетюши, заведующей школой второй ступени, которую я никогда не знал, которую никогда не узнаю и которой, быть может, и нет совсем, ибо в Тетюшах не заведующая, а заведующий. Я писал:

«Брат мой.

«Я сижу сейчас в провинциальном отеле на берегу Тихого океана, который плещется за окном, — в Японии,

в глубокой полночи. Мне скучно, тихо и одиноковато. И одно я хочу сказать сейчас, далекий мой, неизвестный брат, — то, что все на этом свете относительно, что и мне сейчас надо ложиться спать и хочется есть, как это делается с каждым человеком.

«Привет тебе, брат мой, от Страны Корней Солнца, — а мне: покоя и доброго сна».

Очень дурманно пахнули незнакомые цветы. У меня в ту ночь было такое настроение, которого в жизни нормальной у меня не бывает, которое в детстве возникало у меня при чтении английских романов, при описании английских сочельников, — хоть и была за домом майская ночь и ворчал теплый океан... Как велик Мир! — как древен Мир! — и — как мал и молод Мир... все относительно, все правомочно и — все проходит. Все проходит, потому что вот о той ночи в Атами я пишу уже в Москве, в дни первых наших метелей, когда за окном падают белые снеги. Тогда же, в Атами, совершенно невыспавшиеся, ехали мы наутро, туристами, в Одавара, чтобы там пересесть на автомобиль и ехать к озеру Хаконэ, около которого я уже был.

. . . . . .

Одна из редакций японских журналов просила меня написать им, какой роман я написал бы, если бы я был японцем. — Я долго не мог собрать своих мыслей, чтобы написать об этом.

Прежде, чем стать японским писателем, то есть человеком, мыслящим образами и творящим образы, — я должен был бы стать японцем. Я — японец — должен был бы познать быт, философию, науку и историю Японии, — я должен был бы установить свою точку зрения на искусство литературы, которых может быть множество. Я — Пильняк — в дни моего пребывания в Японии

растерял очень многие мои точки зрения, в частности на искусство, в частности на литературу, — ибо у меня была точка зрения европейца, когда я думал, что искусство литературы существует к тому, чтобы формовать человеческие эмоции путем отображения жизни подлинной и исторической, в худшем случае — такой, которой нет, но которая может быть, то искусство, которое я увидел на Востоке, мне указывает — во-первых, что все в этом мире правомочно, а, во-вторых, на то, что в этой правомочности нет никаких причин отдавать предпочтения искусству европейскому перед искусством Востока. Они, искусства Востока и Запада, равнозначимы и равнопрекрасны: цели их одни и те же, пусть средства разны, — средства, ибо европейское искусство упирается в о в р е м я и с историей времени старится, стремясь гулять в ногу с эпохами, — ибо искусство Востока отказалось от времени, стало над временем, построенное на условностях красоты, высоких чувств и красивости. В этом месте я потерял свою точку зрения на искусство литературы.

Если бы тот мифический писатель, который получился бы в Японии из меня, имел понятие о литературе как о прикладном искусстве, предназначенном руководить общественной и интимной жизнью людей, как очень часто понимается искусство литературы на Западе и у нас в России,— он написал бы роман, реалистический, натуралистический, где восхвалялась бы или порицалась бы деятельность Сейюкай, японской партии, описан был бы прием у миниидела и на заводском дворе, описаны были бы семьи крестьян, рабочих, интеллигентов, железные дороги, пароходные компании, фабрики; все это переплеталось бы очень сложной и остроумной завязкой, фабулой, сюжетом... и — все это было бы очень скучно, разумно и нравоучительно. Такой роман, если бы он был понятен евро-

пейской психологии, сейчас же перевели бы в Англии, Америке и России: но его перевели бы не потому, что он есть художественное достижение, а к тому, чтобы ознакомиться с бытом Японии, и через десять лет в справочниках о Японии сказано было бы, что роман этот, как информационный, устарел.

Если бы этот мифический писатель смотрел на искусство литературы глазами Востока, — он, этот писатель, написал бы роман, где главным героем был бы дух Фудзи-сана, дух извечной красоты. В этом романе этот писатель постарался бы изобразить людей, приблизительно, такими, какими они представлены в Осакском кукольном театре,— прекрасными и неживыми. В этом романе было бы много прекрасных пейзажей, много пагод, цветов, солнца и луны. В этом романе сюжет был бы приторен, как мед, фабула чопорна, как поклоны гейш, а развязка сладостна, как японский фрукт каки. Такой роман трудно было бы перевести на европейский, ибо он был бы непонятен европейской психологии.

И еще десятки можно было бы придумать сюжетов этого фантасмагорического романа, который написал бы несуществующий фантасмагорический японский писатель Пильняк.

...Я — Пильняк, если бы я был японцем, мне думается, захотел бы написать тот роман, который в действительности я хочу написать, о том, как мои мозги были бритвою на оселке Востока.— Люди Земного Шара сейчас переживают эпоху, когда в мировом хозяйстве, в науке и искусстве стираются национальные черты и границы,— и мне хочется подняться над границами моей нации, мне хочется написать книгу, которая была бы нужной не только у меня на родине, но и в Японии, и в Америке, и в Бразилии, и не только философу, но и коммивояжеру. Эту книгу я окутаю бодростью того, что ничто в этом мире

не абсолютно — от человеческой жизни до точек зрения на искусство, все течет, все проходит, все правомочно: это ощущение дал мне Восток. В этой книге я расскажу, как мир — в это столетие его развития — связан между собою, как не только пароходы бороздят океаны, но, подобно пароходам, по миру идут идеи дружества и братства народов, идеи уважения человека и человеческого труда. И эту книгу я посвящу бодрости труда, бодрости шума гэта, бодрости воли,— бодрости того шума гэта, который прокопал дороги в горах, охолил горы, взрыл руками поля для риса. В этой книге я расскажу о том, что тот народ, живущий на вулканах, есть удивительнейший народ.

...Эту книгу хочу написать я — неяпонец. Но если бы я был японцем, мне думается, я написал бы эту же книгу.

29 окт. 1926 г. Москва.
Поварская, 26,8.

Р. КИМ

НОГИ К ЗМЕЕ

(ГЛОССЫ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

«О, сын мой! Пусть легка будет беседа твоя для слушающего...»

(Мудрость сеннахерибского визиря Хикара.)

«Ноги к змее» — по-китайски шэ-цзу, по-японски да-соку, выражение из китайской книги «Чаньгоцэ», согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом словаре «Дзигэн» («Источник Знаков»), значит: нарисовав змею, приделывать к ней ноги, то есть делать ненужную, излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног; книга Б. Пильняка «Корни Японского Солнца» может существовать без моих комментариев, и их можно не читать, мои страницы. Автору основной части казалось, что некоторые его абзацы, будучи понятны самим японцам, которые в первую очередь прочтут эту книгу, и русским, хотя бы отдаленно причастным к ориентологии, будучи понятны этим, останутся не совсем ясными для людей, знающих о Японии почти столько же, сколько о юго-западной Атлантиде. Для последних и сделаны мной несколько комментариев-глосс, скромная цель которых дополнить, разъяснить, развить некоторые места основной части книги. На объективность не претендую, ибо корейцу, так же как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах-покорителях.

«Ноги к змее» посвящаю высокому коллеге, проф. В. А. Гурко-Кряжину.

Москва, 1 декабря 1916 года Корейской Диаспоры.

I. ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 1923 ГОДА

(К главе «Вулканы»)

... я всегда торжественно
думал о космосе, не застывшем еще для этих островов.

(Из главы «*Вулканы*».)

Есть классическая японская поговорка, состоящая из четырех имен существительных: «Землетрясение-гром-пожар-отец». Она перечисляет квадригу наиболее грозных для японца явлений, расположенных в нисходящей градации. После землетрясения 1923 года японские социалисты, в чьих рядах вместе с катастрофой большое опустошение произвели жандармы и полицейские, пустили в обращение новую поговорку: «дзисин-кэмпэй-кадзи-дзюнса», что значит: «землетрясение-жандарм-пожар-полицейский». В обоих случаях на первом месте по грозности стоит землетрясение.

Великое землетрясение 1923 года избрало своими жертвами пять восточных префектур во главе с токийской. В 11 часов 58 минут утра 1 сентября 1923 года земля в этих пяти префектурах внезапно прыгнула вверх на четыре вершка, а через несколько минут на побережье Камакуры, Дзуси, Кодзу, с грохотом, потрясшим все небо, хлынул вал с Тихого океана, зеленая водяная стена в несколько сажен вышиной. Земля стала извиваться и прыгать, как одержимая, — с двенадцати часов дня 1 сентября до двенадцати дня 2 сентября сейсмологами было насчитано восемьсот пятьдесят шесть толчков, а со 2 по 3 сентября — двести восемьдесят девять судорог. После первых толчков в городах во главе с Токио и Иокохама заполыхали пожары, и жители этих городов очутились лицом к лицу с двумя обезумевшими стихиями, а жители прибрежной

полосы восточных провинций — с тремя. В Токио сгорело заживо 56 774 человека, утонуло в каналах, реках и прудах 11 222 человека и было раздавлено домами 3 608 человек. Этот бунт стихий испепелил, по авторитетным выкладкам московского проф. О. В. Плетнера, двадцатую часть всего национального богатства Японии и нанес ей оглушающий удар. Многие в Европе и Америке решили, что Япония получила почти смертельный «knock», после которого она, в лучшем случае, станет второклассным государством. Но Япония, подобно крепко-вытренированному боксеру, невзначай получившему удар в челюсть, немного покружилась, посидела 9 секунд на полу ринга и после этого к удивлению всех быстро встала на ноги.

II. АКИТА УДЗЯКУ

У японцев, как и у китайцев и корейцев, псевдонимизуется только имя, фамилия — нет. Акита — это фамилия; настоящее имя драматурга — Токудзо. Псевдоним Удзяку значит: «Воробышек во время дождя». Удзяку родился в 1883 году, кончил отделение английской литературы Васэдаского университета. Автор ряда великолепных детских сказок,— особенно хорош сборник «Детям Востока»,— один из лучших драматургов, но его вещи, имеющие сильный пролетлитературный уклон, редко ставятся в больших театрах. В последние годы стал писать в экспрессионистском духе — лапидарный диалог, стремительное сюжетное развертывание. Видный представитель японских левых попутчиков; убежденный эсперантист, но пока-что все вещи пишет по-японски, только даты и подписи — на эсперанто. Кстати, его драмы сейчас переводятся на русский язык молодой многообещающей японоведкой Е. Крейцер, ученицей проф. Н. И. Конрада.

III. ТРИ ВЫПИСКИ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

(К главе «Две души принципов „наоборота“»)

1) Из толкового словаря японского языка «Гэнкай» профессора Оцуки (изд-во «Йосикава-Кобункан», Токио, 1922 г., 473 издание):

— «Синоби (нинздюцу, дзиндзюцу) — искусство, сделавшись совершенно невидимым ночью, незаметно проникать в неприятельский лагерь или в чужой дом; замаскировавшись, проникать на неприятельскую территорию и заниматься тайной разведкой».

2) Из биографии великого вора-покровителя бедных, Нэдзумикодзо Дзирокити, казненного в 1832 году (изд-во «Хакубункан», Токио, 1922 г., 18 издание):

— «Строго, соблюдая церемонии, Киритаро обучил Дзирокити магическому искусству пяти способов делать себя невидимым; это искусство — ниндзюцу — теперь заметно поколеблено благодаря развитию точных наук, но все же до сих пор применяется; в прежние времена в периоды войны усиленно пользовались лицами, знавшими искусство это».

3) Из книги В. Латынина «Современный шпионаж и борьба с ним» (Гос. воен. изд-во, Москва, 1925 г.):

— «Задолго до Русско-японской войны японцы широко развили шпионаж не только на Дальнем Востоке, но и в Европейской России. Во Владивостоке, Хабаровске, Харбине, Порт-Артуре многие рестораны, гостиницы, магазины и торговые конторы были переполнены японскими шпионами под видом прислуги. Русским и в голову не приходило, какая огромная паутина японского шпионажа окутала их везде на Дальнем Востоке. Мы не могли представить себе, чтобы японские офицеры генерального штаба лично работали в качестве шпионов под видом парикмахеров, приказчиков и даже домашней прислуги у русских генералов».

Рекомендую прочитать еще следующие статьи и книги, дающие понятие об основных принципах синоби: Mabille, «La lutte contre les services des renseignements ennemis» («Revue Militaire Française» I/X—1923); F. Touchy, «Taemnice spiegostwa podczas wojny swiatowei». Момокава Энгйоку, «Похождения великого разбойника, друга бедноты Дзирайя» (на японском языке).

IV. О БУСИДО

(К главе «Харакири»)

(Стенограмма лекции, которая никогда не была и не будет прочитана.)

Одни живут, будучи мертвецами; другие, умерев, живут.
Проф. *Кода Нариюки*, О радости и наслаждении.

Товарищи!

Два принципа кардинальных, всеопределяющих, лежат в основе бусидо-этики японских самураев, которых классовое господство длилось с XII по XIX век, начавшись с выхода на сцену кланов Таира и Мина-мото и завершившись самурайской Вандеей — трагическим мятежом генерала Сайго в 1877 г.; два основоположных принципа суть беззаветнейшая преданность господину своему, т. е. чувство великого долга перед сюзереном, и вытекающее отсюда неумолимое последовательное до конца презрение к смерти, торжественный отказ от всякого страха перед небытием; эти два принципа — наивысшего долга и величавого пренебрежения к смерти, эти опорные колонны самурайской идеологии с неустанным рвением и тщанием укреплялись и полировались в течение семи феодальных столетий, и что удивительного, если эти колонные принципы были доведены до небывалой прочности и слепящего блеска и вызвали шумное изумление европеян, в XIX веке вто-

рично открывших Японию; что удивительного, если в течение семи веков изо дня в день, из часа в час представители правящего класса словом и делом демонстрировали свое неистощимое презрение к смерти, измывались над ней, как над последней девкой из Кандаских лупанарных бань, и напряженной волевой гимнастикой вытравили дочиста из своих душ всякий страх перед призраком безносой; к этим двум принципам-доминантам неразрывно примыкает третий, заключающийся в доведенном до пределов стоицизма непроницаемой охране своей души от чужого взора; замуровывании всех своих чувств под неподвижной маской лица, ибо преданный самурай, готовый в любой момент швырнуть свою жизнь без сожаления, как лопнувшую сандалию, к ногам владыки, должен переносить молча все лишения и никогда не выказывать наружу презренных судорог души. Вот эти три принципа составляют сокровенное нутро бусидо, его сердце, на которое в последующие столетия токугавскими профессорами было наложено несколько толстых слоев конфуцианского лака, превратившего жизненные правила диких воинственных хэйанских [1] (кантонских) и камакурских самураев-дружинников [2] в благообразный чинный чиновничий кодекс морали, во всем согласованный с округленными китайскими философемами. О нормах повседневного поведения первых самураев, о том, как они были крепко преданы своим господам, и о том, как они весело умирали, нам рассказывают в величавых гомеровских тонах «гункимоно» — военные хроники Камакурских времен, эти японские chansons de geste. Главнейший аттрибут бусидо — сэппуку, или харакири, т. е. вспарывание живота, совершаемое в случае поражения в бою, компрометантного

[1] Эпоха Хэйан (IX—XII).
[2] Эпоха Камакура (XII—XIV).

поступка, смерти сюзерена или в качестве довода действием для образумления заблуждающегося господина. Это великое японское изобретение появилось в конце Хэйанских веков, и самое раннее упоминание о нем мы находим в историческом труде «Дзокукодзидан», где повествуется о том, как некий «Фудзивара Ясусуке вынул меч, распорол живот и вытащил кишки»; последняя манипуляция была «канонизована», и до середины XIV века самураи, очутившись во время боя в безысходном положении, разрезали живот и изо всех сил швырялись своими кишками, стараясь для вящшего удовольствия попасть во вражеские лица; процедура совершения харакири в последующие века была нормирована, регламентирована, стандартизована, и только некоторые артистические натуры и изобретательные умы позволяли себе кое-какие эффектные отступления; обычно же харакири совершалось так: вонзали кинжал в левый бок, проводили горизонтальную линию по всему животу, затем прокалывали полость сердца и вели нож до пупка,— в большинстве случаев здесь наступал финал, но некоторые, не удовлетворившись всем этим, вгоняли кинжал в горло; в XVIII веке сьогунскими церемониймейстерами был сочинен торжественный ритуал, причем в харакирное действо был введен так называемый «кайсяку» — ассистент, коему поручалось в момент первых судорог четким взмахом сносить голову самоубийцы. Дикое, пахнущее кровью, вспоенное пьяным молоком фанатизма, бусидо в его некодифицированном, незалакированном виде существовало до XVII века, т. е. до воцарения династии военных монархов Токугава, положивших конец нескончаемым феодальным войнам, что свирепствовали в течение трех веков; но эти первые десятилетия новой эпохи были отмечены рядом великолепных проявлений живописных демонстраций воинствующего бусидо, из коих следует прежде всего назвать «харакири вдо-

гонку» — оибара и действенную проповедь самурайского стоицизма; дело в том, что с начала этого века в кругах ответственных вассалов стал культивироваться обычай после кончины своих даймьо распарывать себе живот, чтобы следовать за сеньором; классическими случаями должны считаться групповые харакири вассалов нагойского даймьо Мацудаира в 1607 году, советников Этидзэнского Хидэясу в том же году и в особенности то самопобоище, что разыгралось после кончины третьего сьогуна в 1651 году, когда ряд высших самураев-министров во главе с Абэ и Утида совершили харакири, а за ними в свою очередь последовали их вассалы, образовав жуткую пирамиду. Между прочим сугубо характерно, что родоначальник Токугавской династии — Иэясу не причислил себя к апологетам «оибара» и, когда этидзенские вассалы пустились «вдогонку» с разодранными животами, он опубликовал осуждающую буллу со словами: «умирать легко, жить трудней», предвосхитив этим самым лефовского даймьо Маяковского, сказавшего после одной смерти: «в этой жизни помереть не трудно,— сделать жизнь значительно трудней»; эта эпидемия «оибара» продолжалась до второй половины XVII века, пока правительство не запретило наистрожайше эти окровавленные кортежи на тот свет. Что же касается до активного стоицизма, то он заключался в том, что самурайские золотые молодчики — датэсю, желая довести до недосягаемой высоты свою волевую закалку, испытывали себя таким образом: непоспешными стопами фланировали по зимним улицам в одном тонком халатике, обмахиваясь большими веерами; в июльский зной, взвалив на себя тяжелые кимоно, подбитые ватой, грелись у жаровни; устраивали экстравагантные трапезы, на которых, с непроницаемыми безмятежными лицами-масками, зорко послеживая друг за другом, ели терпкий суп из сороконожек, форшмак из соленых дождевых червей и нестерпимо жирную похлебку из кротов и жаб; поистине, прошедших эти необычайные курсы терпения и готовности ко всему, ничто больше не могло и не должно было смущать. Но жизнь брала свое: феодальных войн не было, кругом ненарушимо властвовал мир, и все стали понемногу тяготиться этим неистово-диким, неукротимым бусидо. Как хорошо было бы обуздать его, остричь его и сделать сводом жизненных правил не воинов головорезов, нет, а верноподанных чиновников великого сьогуна. И вот появляется услужливая фаланга казенных конфуцианских ученых,— все эти Накаэ Тодзю, Кумадзава Бандзан, Даидодзи Юсэн и другие, усилиями коих бусидо был превращен в стройный кодекс норм поведения, имеющий в своей основе конфуцианские принципы безграничной верности государю, почитания родителей и осуждения безрассудного мужества; философы Накаэ и Каибара говорят, что самурай должен быть прежде всего гуманным мужем и должен знать заповеди Конфуция, а Токугава Нариаки, глава митосской школы в книге «Кокусихэн», вышедшей в 1833 г., резюмируя всю проведенную работу по кодификации бусидо, предписывает самураям следующее: избегать вульгарного мужества (sic!), заботиться о внешнем облике, читать творения древних, ходить на охоту, ездить верхом на коне по берегу моря и играть на флейте в лунную ночь; если бы этот мудрец был знаком с европейской культурой, он, вне всякого сомнения, рекомендовал бы самураям играть в серсо, раскладывать пасьянс и конспектировать Четьи-Минеи. Конфуцианским профессорам удалось в известной степени приглушить, укротить и обуздать тезисы бусидо, но кардинальные принципы чувства долга и презрения к смерти были сохранены в непоколебимой целости. Правда, первый принцип, который был наиактуальнейшим, непрестанно испытуемым в эпоху ежедневных феодальных войн,

утратил в эпоху мира свое значение, превратившись в простую максиму чиновничьей морали, в заповедь, ничем не вуалируемого сервилизма. Но второй принцип,— принцип игнорирования смерти, беспощадного пренебрежения к ней, был торжественно пронесен через все токугавские века [1], породив вереницу классических харакири, вендет, актов кровной мести, отобразившихся на лучших страницах японской повествовательной драматической литературы. Японские танкослагатели слово «сакура» —вишня единогласно возвели в символ самурая, самурайской души, ибо вишневые цветы, после пышного расцвета, сразу же, без остатка, осыпаются в течение одной ночи, подобно самураю, без тени сожаления совершающего акт самоумерщвления. Самурайский класс, сотворивший бусидо, сошел со страниц истории во второй половине XIX века, но новое императорское правительство, отняв у самураев мечи и разметав их, решило использовать идеологическое наследие их, неизгладимо врезавшееся в сознание японского народа, и приступило к шумной пропаганде тех же, только слегка измененных, двух основоположных принципов: преданности сюзерену, теперь — императору, и готовности в любой миг приять смерть ради сюзерена, теперь — императора; о том, что гос-апология модернизованного бусидо была успешной, гордо свидетельствуют восторженные слова профессора Нитоб Инадзо: «Сражения на Ялу, в Корее и Манчжурии выиграли духи наших отцов, водившие нашими руками и бившиеся в наших сердцах. Они не умерли, эти духи — души наших воинственных предков». Прав токийский магистр, справедлив его восторг, поистине бусидо — моральный кодекс средневековых вассалов, неистовых полуварваров, стоических фанатиков в течение нескольких последних десятилетий

[1] Токугавская эпоха — XVII—XIX вв.

комментарской изобретательностью был превращен в коран воинствующего монархизма и патриотизма, в религиозно-этическую систему японских казарм. И вот теперь, оглянув всю историю самурайской морали, если вы захотите взять наиболее высокие моменты, наиболее патетические абзацы летописи бусидо, наиклассчейшие примеры, то это будут: «харакири вдогонку» кавалера второй степени Великого Чина, маршала графа Ноги и история заговора и смерти сорока семи самураев. Первая повесть о самоубийце-маршале вас изумит на несколько минут, но вряд ли это чувство удивления приведет вас к глубоко благоговейному безоговорочному пиэтету; скорее всего у вас мелькнет мысль о том, что в груди этого хмурого полководца начала XX столетия, генерала, разгромившего порт-артурские форты одиннадцатидюймовыми мортирами, билось сердце кромешного фанатика начала XVII века, того самого, который умирал вслед за своим даймьо, повелев своей жене или любимой наложнице и вассалам сопровождать его; скорее всего вы вспомните желтые листы фолианта первых токугавских лет «Мэйрьо-Кохан» — Книгу Ясности, в коей убедительно говорится об одной разновидности харакири, о так называемом «сьобара», т. е. «харакири de raison», рассчитанном на эффект и на последующую славу. Но быль о сорока семи самураях, о которых сказал Б. Пильняк, справедливо требует от вас более длительного внимания; поэтому расскажем о них более тщательно. Эти сорок семь во главе с Оиси Кураносукэ, после того как их сюзерену по сьогунскому повелению пришлось покончить с собой из-за даймьо Кира Кодзукэ, дали друг другу кровную клятву во что бы то ни стало стереть с лица земли этого сиятельного негодяя; они рассеялись во все стороны, превратились в бродяг, разносчиков, торговцев, поэтов, мелких ремесленников и т. д., непрестанно держа тайную связь и шаг за шагом окружая

невидимой сетью находившийся в Эдо дворец-крепость их могущественного врага, который, будучи окружен лесом своих телохранителей и шпионов, ни на одну секунду не ослаблял своей бдительности; только вождь заговорщиков Оиси Кураносукэ, увидев плотное кольцо вражьих шпиков, сразу же отчаялся, махнул рукой на заговор, вытолкал из дома плачущую, с двумя детьми, жену, с которой прожил десятки ничем не омраченных лет, сменил строгое одеяние сановного самурая на легкомысленный узорчатый шелковый халат и с головой погрузился в жизнь развратного бонвивана; его пьяную, зловонно икающую, фигуру стали ежедневно видеть на верандах киотоских веселых домов и в канавах, куда он сваливался в бесчувствии; люди, знавшие его, все отвернулись от презренного гнуса, смрадного ренегата, и, когда он валялся на улице, распахнув дорогой с цветистыми узорами халат, некоторые плевали на него, швыряли в него комья грязи и даже били деревянными сандалиями по лицу; он, который раньше был одним из главных приближенных даймьо, вождь заговорщиков, забыл решительно все: забыл клятву, зачинщиком которой был сам; забыл тех, которые ждали его знака, стиснув зубы от нетерпения; забыл самурайскую честь, все наставления своего учителя, философа Ямага (которым два века спустя будет зачитываться генерал Ноги), и окончательно перестал быть человеком; шпионы Кира Кодзукэ, следившие за каждым шагом Оиси Кураносукэ, досконально описывавшие историю его необычайного падения в своих донесениях в Эдо, не ожидали такого оборота дела: Оиси Кураносукэ, доселе имевший кристальную репутацию доблестнейшего самурая, мастерски, оказывается, скрывал свою истинную натуру распутника и жалкого труса. И вот прошел год после харакири несчастного даймьо и разгона его самураев; о последних ничего не было слышно, и четырнадцатого марта, в день

годовщины самоубийства, никто не пришел поклониться могильному камню,— все было тихо, спокойно; шпионы, исписав кипы реляций об Оиси, плюнули и вернулись в Эдо, и эту историю все стали постепенно забывать, ибо, как гласит японская поговорка: «молва про людей длится семьдесят пять дней» — «хито но уваса мо ситидзюго-нити».

В октябре этого года в поселок Камакура, что около Эдо, пришел откуда-то пожилой самурай по имени Какими Горобэй и, пробыв три дня, направился в столицу; там он стал вести непонятную жизнь, кочуя из дома в дом своих знакомых — большею частью мелких торговцев, ремесленников, разносчиков, поденщиков и просто людей без определенной профессии: повидимому, самурай Какими, несмотря на свои мечи, решил вместе со своими знакомыми заняться недостойным делом — открыть торговое предприятие для обслуживания даймьо и, в первую очередь, господина Кира Кодзукэ, ибо Какими и его компаньоны очень часто говаривали о даймьо Кира, его вкусах и привычках, дворце, званых вечерах там, дворцовой челяди, числе закрытых носилок, в коих ездит даймьо, меняя их каждый раз, о характере привратников, которые иногда не пускают торговцев-поставщиков, и даже о глубине пруда, находящегося в дворцовом саду. Когда наступил декабрь, Какими и его друзья стали собираться чаще и, повидимому, дело выходило, но не хватало чего-то, может быть, денег, ибо все что-то высчитывали на счетах, корпели над грязными, смятыми чертежами и почтительно выслушивали Какими, который был вообще глубоко образованным человеком,— любил цитировать китайских классиков и писать тушью величавые пейзажи в стиле гениального Сэссю. В холодную снежную ночь 14 декабря в доме одного из знакомых Какими был устроен скромный ужин, на который собралось сорок семь человек; было

сакэ, жареные каштаны, рисовые лепешки и суп из морской капусты. Ужин был без всяких изысков, но все собравшиеся были в диковинных нарядах: комната, где все собрались, была похожа на кулисы театра «Кабуки», так как все были в боевых самурайских одеяниях, в которые уже в течение ста лет ни один самурай не облачался по причине полного отсутствия войн со времени воцарения Токугавской династии,— войны происходили только на вертящейся сцене и на «дороге цветов»; у всех собравшихся были шлемы, нагрудники, шаровары, цепные пояса и внушительные мечи; после полуночи все, по знаку Какими, главного зачинщика этого необычайного маскарада, стали выходить из дому, неся с собой кроме мечей еще громадные деревянные молоты и копья; выслушав с серьезными лицами наставления вожака, этого угрюмого потешника, все молчаливой гурьбой пошли по пустым снежным эдоским улицам; между прочим Какими был одет почти так же, как и все, но у него преобладали черные строгие цвета,— очевидно, он не любил цветисто-узорчатых одеяний,— только у него на черном рукаве верхнего халата странно выделялась пришитая одним концом узкая полоска позолоченного картона, эта полоска свешивалась с рукава, на одной стороне ее было написано иероглифами: «Эры Гэнроку пятнадцатого года [1] двенадцатой луны четырнадцатого дня ночью я умер в бою», а на обратной — фамилия: «Оиси Кураносукэ». На следующее утро весь необъятный Эдо был потрясен невероятным событием: под утро в усадьбу даймьо Кира Кодзукэ ворвались сорок семь самураев, которые, перебив всю дворцовую охрану и разыскав где-то на задворках трясущегося хозяина, отрубили ему голову; сьогунское правительство, ошеломленное не меньше эдоских обывателей, приговорило эту банду самураев, осмелившихся посредине великой сьогунской столицы разгромить дворец и обезглавить одного из влиятельнейших даймьо, к смерти через харакири. Все умерли четвертого февраля 1704 года. Вот в грубых штрихах вся история сорока семи. Когда мы говорим о бусидо в его феодалистическом и сегодняшнем банзай-патриотическом аспектах, взор невольно останавливается на выпуклых одиозных очертаниях и не хочет итти дальше вглубь, сквозь наружную, густо наляпанную лакировку; но не следует с торопливым нетерпением делать сокрушительный вывод — исступленно пускать подобно Б. Зильперту чугунные стрелы в заведомый призрак; можно непримиримо и решительно отвергать бусидо за его внешний облик, отвратную конфигурацию, но неужели же в нем, питавшем в течение стольких столетий один из культурнейших народов мира, нет ничего, ничего, что могло бы быть нами, неяпонцами,— корейцами, китайцами, русскими, европейцами — принято, хотя бы с кое-какими осторожными оговорками, или, может быть, даже сочувственно оправдано? На это отвечаем: есть. Для этого надо взять те два основоположных принципа самурайской морали, выхватить их из контекста феодальной эпохи, освободить их от кожуры классовых аттрибутов самурайства и отчетливо отделить от казенно-казарменного культа сына неба. И вот тогда эти два принципа, взятые вне времени, предельно абстрагированные, сведенные к сокровеннейшей сути, будут означать: всепоглощающее чувство долга и радостную готовность пожертвовать собой ради дела всей жизни. И сорок семь самураев начала XVIII века, которые знали это чувство долга и выполнили этот долг целиком, без остатка, разве они не достойны искреннего и проникновенного сочувствия? Сорок семь человек, нерасторжимо связавших

[1] 1703.

друг друга братской клятвой; безукоризненно проведших с начала до конца изумительную конспирацию в сплошь шпионском Эдо; сокрушивших все заставы бдительности сиятельного врага; не дрогнувших ни разу с первой минуты заговора до последней секунды жизни; давших незабываемый пример монолитно спаянного коллектива; доведших дело всей своей жизни до испепеляющего конца!

V. НОБОРИ СЬОМУ

Сьому — псевдоним: «Рассветный сон». Родился в 1878 г. Один из лучших переводчиков Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Куприна. В последнее время переводит больше критические работы, в частности сейчас перелагает на японский все опоязовские опусы и «А все-таки вертится» Эренбурга. В 1923 г. в конце лета приезжал в Москву, но, пробыв несколько дней, спешно поехал обратно по получении первых телеграмм о гибели Токио, где он оставил всю свою семью.

VI. МУСЯКОДЗИ САНЭАЦУ

Происходит из старинной аристократической семьи. Глава группы «Сиракаба», объединяющей аристократов литераторов, выходцев из Лицея. Родился в 1882 г. Пишет драмы, рассказы и так называемые «дзуйхицу» — бессюжетные заметки, диалоги и фельетоны на литературно-философские темы; горячий почитатель Толстого, в 1918 году совместно со своими поклонниками образовал поселок на острове Кюсю — «Новую деревню» для действенной проповеди новых принципов жизни, каких — пока не видно. Недавно им написанную драму «Страсть» — история о том, как горбун-художник убивает свою жену, ревнуя ее к своему брату, и запихивает труп в чемодан — японские критики считают шедевром не только японской,

но и мировой литературы. Драма неописуемо скучна и представляет собой кошмарный продукт аристократической графомании.

VII. ДВА СЛОВА О ЯПОНСКОЙ СТЫДЛИВОСТИ

(К главе «Йосивара, ойран, гейши»)

У японцев понятие стыдливости, конечно, существует, но оно отлично от европейского. Европейцы любят с улыбкой показывать на японские совместные омовения, на общие уборные и на фаллистические следы, усматривая их даже там, где их нет. Например, персик, что фигурирует в знаменитой японской сказке о чудо-мальчике, завоевателе острова чертей, по мнению некоторых ученых европейцев, есть не что иное, как ктеис. Счастье японцев, что великий Зигмунд до сих пор еще не имел случая познакомиться с книгой Dr. Florenz'a «Japanische Mythologie». О, если б этот венский Задека стал разоблачать всех японских богов, мифологических героев, то министерству народного просвещения Японии пришлось бы спешно переиздать официально рекомендованные учебники отечественной истории, ибо последние все начинаются с биографии богов и их запутанных похождений.

Японцы в ответ на европейские улыбки укоризненно качают головами, смотря на послевоенные европейские танцы, эзоповски пересказывающие акты страсти, или при виде дамских одеяний, с нарочитой тщательностью обтягивающих торсы.

Совместные бани и фаллизм теперь уходят в историю благодаря стараниям департамента полиции, этого свирепого блюстителя нравственности на японских островах, который задался целью внедрить в японцев европейское понятие стыдливости. Один преподаватель Ленинградского политехникума написал как-то рассказ

«Ловец человеков», действие в коем происходит в Лондоне. Увы! — это же человеколовство процветает сейчас в Токио, и занимается им кто? — Полиция. По вечерам в токийских парках иногда устраиваются облавы, после чего всех извлеченных из кустов юных мужчин и женщин, не являющихся легальными супругами, торжественно ведут в участки, как пленных эфиопов; пойманных привлекают либо за ярко выраженный адюльтер (грозная статья в Уголовном кодексе), либо за активное нарушение социальной нравственности. Строго и зорко следит полиция за литературными произведениями, заставляя редакторов зачеркивать все нескромные места и ставить кружки или точки, а в тех случаях, когда редактора бывают недостаточно строгими, — конфисковывая эти издания. На вернисажах выставок больше всех суетятся полицейские комиссары, которые, старательно обнюхав все ню, беспощадно изгоняют фривольные полотна и статуи. Например на последней осенней выставке Салона (1926 г.) полицейские были шокированы большой статуей Окуни Тэйдзо «Перед океаном», изображавшей голого мужчину, и заставили скульптора соскоблить genitalia, после чего испытанные остряки стали именовать эту статую: «Андрогин перед океаном».

Всякий может подумать, что современная японская литература, благодаря такому остервенелому целомудрию полиции, представляет собой безрадостное и постное зрелище, унылый серый луг без единого цветка. Это неверно, это глубокая ошибка. Японские полицейские чиновники не так уж бесчувственны, и они знают, что живому человеку иногда органически необходимо иметь легкое невинно-фривольное чтение. Вот почему беллетристу Танидзаки Дзюнитиро дается возможность довольно часто публиковать новеллы с доскональным описанием сексуальных извращений; вот почему в со-

лидном политико-литературном ежемесячнике «Тюокорон» (соответствует «Красной нови») помещается длинное рассуждение о лицах, обладавших анормальными scrota, а в литературном журнале «Бунгэй-Сидзйо» («Литературный рынок»), рядом с переводами вещей Либединского, Эренбурга и других русских современников, печатается непристойнейший фельетон о приемах cunnilingua с дословными цитатами из «Кама-Сутры».

Цензура молча проходит мимо таких писаний, она их великодушно не замечает. Японская полицейская стыдливость!

VIII. ЙОНЭКАВА МАСАО

Профессор Военной академии Японского генерального штаба. Родился в 1891 г. Был в России в 1917 г, но после Октябрьской революции возвратился в Японию, пробыв в командировке всего четыре месяца. Неподражаемо перевел на японский язык «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Войну и мир», трилогию Мережковского и другие вещи.

IX. К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ЛИСИЦЫ

(К главе «Вечер на Хиноки-тьо»)

(От комментатора — вынужденное объяснение)

«... разительно в японском народе, по мнению Канэко, отсутствие мистицизма».

(Из главы «*Вечер на Хиноки-тьо*».)

«Но все же подлинная народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма».

(Ibidem.)

К страницам Б. Пильняка, где говорится о лисьем боге и о философии японского народа, мной был написан большой очерк-комментарий на два печатных листа. Я позволил себе так рас-

пространиться потому, что вопросом о лисьем культе в Японии и вообще о японских суевериях занимаюсь уже восемь лет и готовлю диссертацию, предназначенную к печатанию в журнале Bruno Schindler'a и F. Weller'a «Asia Major» и в органе «Royal Asiatic Society» и потому, что этот вопрос еще очень слабо освещен в европейской японологической литературе — его коснулись весьма поверхностно проф. Chamberlain в своих трудах и авторы статей в «Transactions of Asiatic Society» и несколько слов вскользь сказал pater G. Schurhammer в своей работе: «Der shintoismus nach den gedruckten und ungedruckten Berichtender japanischen Iesutenmissionare des 16 und 17 Jahrunderts». В японской литературе этот вопрос почти исчерпывающе освещен в трудах токийского профессора Inoue Enryo, выдающегося специалиста по демонологии, и в историко-этнографическом журнале «Minzoku to Rekishi» (августовская книга 1922 г.). В своей работе я подробно описал и классифицировал всех собак-богов (inugami), чудесных змей, водяных отроков (карра), горных духов (tengu), барсуков-оборотней и волшебных лисиц, вера в которых, ввезенная в Нарский и Хэйанский периоды из Китая, до сих пор необычайно распространена в Японии. Каждая провинция имеет своих чародейных монстров, объектов благоговейного поклонения, из коих наибольшей популярностью пользуется лисица. До сих пор в японских провинциях, — в особенности в юго-западной части Хонсю главного острова Японии, — семьи, подозреваемые в связи с колдуньей-лисицей, подвергаются бойкоту не только матримониальному, но и экономическому, ибо у них не покупают и не арендуют земельных участков и стараются вообще не иметь с ними никакого дела. На острове Оки (в Японском море), когда производятся выборы в нижнюю палату, то конкурирующие кандидаты политических партий разделяются на сторонников лисицы и на противников ее. (См. «Meishin to shukyo» проф. Inoue, стр. 74.) Вера в лисьи чары имеет в сегодняшней Японии миллионы адептов, и приступающему к изучению японской этнографии необходимо в первую очередь заняться этим вопросом. Рукопись я прочитал нескольким своим коллегам — профессорам-ориентологам, в том числе и проф. Е. Д. Поливанову (о нем говорит В. Шкловский в «Сентиментальном путешествии»), коими работа была признана весьма ценной по высоко-достоверному фактическому материалу. За день до того, как сдать рукопись в набор, а копию послать Б. А. Пильняку, я прочитал ее молодому японскому слависту (вернее эсесевореду) г-ну Тораяма, находящемуся в Москве в научной командировке

и специально изучающему диалектический материализм и собирающему русские диалектологические материалы. По прочтении рукописи я, перейдя с г. Тораяма в столовую, заслушал мнение гостя, который, заявив сперва, что в большинстве случаев появление лисиц-оборотней и вселение их в людей основано на самогипнозе, начал затем приводить ряд действительных необъяснимо-таинственных фактов, имеющих место в наши дни на его родине в провинции Идзумо, между прочим им были сообщены весьма интересные данные о несмываемых кровяных пятнах на потолке зала буддийского храма, что около города Мацуэ, о дереве, возле которого появляется белая лиса-оборотень, и т. д. После ухода г. Тораяма, желая занести сообщенные им факты в мою работу, я вошел в кабинет, присел к письменному столу и обнаружил бесследное исчезновение папки с рукописью. Тщательный обыск всего стола не дал никаких результатов, и только поздно ночью я случайно увидел на правом краю стола несколько чернильных следов лапок какого-то зверька, повидимому, лисицы.

X. О ИЕРОГЛИФАХ

(К главе «О иероглифах»)

Иероглифопись — рисунок сердца.
Янцзы.

Латинская буква властным жестом утверждает, что вещь такова; китайский же знак есть та вещь целиком, которую он знаменует.
П. Клодель.

Попробуйте сейчас собрать пять или десять молодых азийцев и провести среди них анкету об их отношении к иероглифической системе письма. Прежде всего вас удивит внешний вид письменных ответов на анкету. Потому, что одни ответы будут написаны иероглифами, другие — латинскими буквами, третьи — уродливыми фонетическими знаками, что недавно изобретены в Пекине, а четвертые будут просто неразборчивы.

Но вас еще больше удивит тон этих ответов. Напряженно страстный тон инвектив против иероглифов будет

свидетельствовать о том, что для авторов этих ответов данный вопрос является не бесстрастной академической проблемой, а вопросом трепещуще-живым и учащенно-пульсирующим, вопросом наиактуальнейшим. По этому вопросу ежедневно ломают груды копий во всех университетских городах Азии, начиная с Пекина, Сеула и Токио.

Те, кто непримиримо отвергает иероглифы, будут вас уверять, что в наш век, когда над Великой стеной, помнящей еще гуннов, летают Юнкерсы, когда нагасакские проститутки читают Поля Морана, а сеульские гимназисты гектографируют эпистолы Крестинтерна, иероглифика — вопящий анахронизм. Сейчас эра ундервудов и стенограмм — прочь несуразные неуклюжие знаки — каменный век письма!

Перед вами статистические таблицы, где беспощадной тушью на ватмане показано, сколько бесценного времени, какой огромный кусок жизни безвозвратно отнимают у человека эти иероглифы. Подумать только, сколько зрительной и мнемонической энергии тратится на этот демонский шифр каждый день на протяжении от Аннама до Курильских островов! Иероглифы, чугунные колоды на ногах, задержали Азию на несколько сотен лет. Если б их догадались истребить в тринадцатом веке кривоногие юаньские императоры, родичи Чингиса, то вся история нового времени имела бы совсем другое лицо.

В русском алфавите самая сложная буква Щ имеет пять графических черт, считая хвостик, а в латинском — М, имеющая четыре черты. А один из употребительнейших китайских иероглифов ЮЙ, что значит «густой, роскошный, огорчение», имеет двадцать девять черт и похож на эскиз в экспрессионистской картине. Если китайские, корейские и японские

школяры те ночи, что истрачены ими на укрощение иероглифов, употребили бы на другое, ну, хотя бы на изучение чужих языков, то они читали бы всех европейских классиков в подлиннике и на их носах не восседали бы очки в таком количестве, как ныне.

Статистика, НОТ и офтальмология безоговорочно стоят за свержение диктатуры иероглифов.

Эти три дисциплины — европейского происхождения, и неудивительно, что вы, европеец, сразу же становитесь на сторону антииероглифистов.

Но выслушайте и другую сторону.

Вы говорите:

— Довод ваших врагов о том, что эти графические ихтиозавры съедают почти четверть всей энергии учащейся молодежи, неотразим. Какой океан времени мог бы быть сохранен! Давайте оставим иероглифы для буддийских сутр, ведь таинственные знаки всегда внушают уважение... для театральных плакатов, потому что ваши письмена очень декоративны и для книг в тюремных библиотеках: иероглифы незаметно притупляют и успокаивают человека. Ведь чудовищная трудность...

— Прерываю вас, потому что знаю наперед все ваши двадцать два сакраментальных аргумента. Трудность иероглифов бессовестно преувеличивается, особенно теми, кто не знает ни одного знака. Спросите у русских юношей из Златоустинского переулка в Москве, которые весело учат эти иероглифы. Они вам скажут, что иероглифы совсем не страшны. — Во-первых, надо выучить 214 ключевых знаков, во-вторых, ходить аккуратно на лекции профессоров Колоколова и Пашкова, в-третьих, не быть наследственным кретином — и все. Вы говорите дальше, что иероглифы притупляют. Это — неверно. Они лучше всяких мнемонических экзерсисов развивают зрительную память и открывают перед неофитом новый мир

бездонной и величественной красоты. Созерцание иероглифов ничем не отличается по характеру пробуждаемых эмоций и эффекту от созерцания творений искусства. Гравюра Сяраку, героический пейзаж Ма-Юаня и иероглиф стоят рядом так же, как в европейском искусстве саженное панно Пюви де-Шаванна и филигранная виньетка Сомова...

— Иероглиф — творение искусства? Иероглиф — это графический знак, он по своему происхождению и назначению — родной брат европейской буквы, не больше!

— Между европейской буквой и китайским иероглифом такое же расстояние, какое существует между деревянной палочкой для еды и статуэткой богини Каннон. Старый Кадм, который посетил как-то ночью одного французского сочинителя, писавшего под псевдонимом Анатоля Франса, сказал, что изобрел двадцатидвухзначную финикийскую азбуку исключительно для удобства торговли, чтобы быстро, не теряя зря песочных минут, писать первые в мире коносаменты и тратты. Эта азбука, приходящаяся бабушкой европейским алфавитам, была письменностью средиземноморских спекулянтов, темных и невежественных. Китайские же иероглифы были созданы рядом поколений философов и художников.

Первые века работали только художники — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов, с их предельно лаконической выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью, являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства.

Посмотрите, например, на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, телеги, рыбы, феникса и многих других. Голая широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает одной рукой низ живота. Может быть, русский академик Марр, этот Велемир Хлебников от науки, когда-нибудь блистательно докажет, что поза Милосской Венеры взята от китайского иероглифа женщины, который теперь читается «нюй» и смело ассонируется с французским словом «ню».

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по сине-золотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы, ни ног — зато показан зигзаг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского двадцатого века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым. — Здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно, если вы хоть на секунду подумаете о том, что, может быть, в вас течет капля крови этих трогательных первых мастеров.

Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспосабливать к жизни, а, во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была «поэзией понятий».

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов; «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — человек, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «гро-

хот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома и др. (Кто мог бы думать, что этими же знаками в XX столетии в пекинских, сеульских и токийских газетах будут выражаться путем остроумнейших сочетаний такие понятия как: гарантийный пакт, верлибр, гепеу, гуано, мазохизм и эмбарго?)

Итак, были созданы все категории отвлеченных и комбинированных идеографов. Иероглифы, эти Големы, сотворенные мудрецами, стали жить как все твари органической природы, и по их причудливо изогнутым членам медленно потекла черная душистая кровь. Они стали беспрерывно расти, меняться в облике, терять ненужные органы и приобретать гладкий, безукоризненно оборудованный вид. Но те, кто в течение вереницы веков трудились над постепенным упрощением пушистых неповоротливых знаков, никогда не забывали о строгой грации и крепкой красоте знака.

Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный, юркий»; иероглиф «облака или клубы пара, поднимающиеся вверх», стал означать — «говорить», а иероглиф «вяленые куски мяса» — «старый, древний» и т. д.

История европейского алфавита скудна фактами, как биография трамвайного контролера. История иероглифического письма — это пышная многотомная история одной из великолепных отраслей изобразительного искусства.

Как жаль, что у нас нет времени и нельзя вам рассказать о том, через какие эпохи стилей прошли иероглифы. Для вас имена Ши-Лю, Ли-Су, Цай-Юн, Чжун-Ю, Ван-И-

Чжи — такой же пустой звук, как названия аргентинских крейсеров для корейского бонзы. Это — имена великих кодификаторов, создателей каллиграфических эпох, магов кисти. Запомните на всякий случай, что небывалый расцвет искусства иероглифописи был в третьем и четвертом веках европейской эры — мы здесь видим существование многих стилей и их борьбу. Позднее, в седьмом веке, в эпоху Танскую, плеяда художников письма хотела возродить древнейший стиль, но эта псевдоклассическая вылазка кончилась неудачно.

По-китайски искусство писания иероглифов называется «синьхуа», по-японски «синга», что значит «рисунок сердца». Это название пустил в оборот философ Янцзы, сказавший, что «слово есть голос сердца, а иероглифопись — рисунок сердца».

Вы, европейцы, пишете несгибаемым металлическим пером, это все равно, что скоблить бумагу запачканным гвоздем. Мы, азийцы, пишем на тонкой прозрачной бумаге мягчайшей кистью, трепетной кистью, держа ее вертикально. Неуловимое движение души, ничтожнейшая дрожь руки передается на кисть, и мы получаем на бумаге утолщение или утоньшение черты, нажим, отрыв, поворот, росчерк, взлет или зигзаг кисти. Задержите на несколько секунд руку, и сразу же пятно туши станет расползаться на бумаге; проведите кистью два раза по одному и тому же месту — получится жирная уродливая черта, отличная по окраске от других. Если в руке вашей не будет уверенности и непринужденности, иероглифы выйдут хилыми и дряблыми.

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему, если на картинах наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно

дополняют друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

В X веке, в то время когда по Европе рыскали десантные батальоны викингов — в Японии, переживавшей эпоху Хэйан, были в моде так называемые «асидэ» — картины, смонтированные из одних иероглифических начертаний, полных или сокращенных. Вы на асидэ видели течение воды, камни, деревья, скалы, бамбуковые рощи, крыши буддийских храмов, пики гор, облака, птиц и в то же время читали в них иероглифы. Девять веков тому назад на Японских островах умели тонко наслаждаться! Если возьмем непревзойденного Ван-И-Чжи с его...

— Простите, у меня нет времени без конца слушать ваш путаный трактат об изысканных свойствах иероглифов. Будем кратки. К чорту ваше гурманство и эстетическую мистику! Это все — азиатская метафизика. Прежде всего, иероглифы — система письма. Время — золото. Письменные знаки должны быть предельно просты и быстрописательны. В простоте и быстроте — высшая красота, ц е л е с о о б р а з н а я к р а с о т а. Что красивее: весь покрытый кондитерскими украшениями дормез или гладкий голый авто? — Авто. Авто красивее и авто быстрее. Пока вы, высунув от напряжения язык и перебирая в памяти ваших полумифических академиков, выводите на расползающейся бумаге один иероглиф, — я автоматической ручкой настрочу десять слов. Авто и арба. Миноносец и шаланда.

— Извините, у нас существует почерк «цаошу» — иероглифическая скоропись. Наши студенты дословно записывают этим иератическим почерком лекции профессоров. Любовные письма у нас принято писать скорописью, ибо они необычайно граци...

— Стоп. Надо кончать нудный диспут. Я мог бы окончательно развенчать перед вами ваши «дзыры», как их называют русские студенты-ориенталисты, но у меня нет времени. Скажите последнее слово. Вы не отрицаете того, что чудовищная громада времени уходит на усвоение ваших кабалистических ублюдков. Это самый убийственный аргумент. Время — золото. Ваша попытка оправдать иероглифы за их родословную и подозрительную миловидность — жалка и суеславна. Попробуйте найти хоть какое-нибудь оправдание вашим иероглифам с точки зрения це-ле-со-о-браз-но-сти. Какое нибудь!

— Их уже великолепно оправдал Пильняк-сан, сказавший: «Если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец». Это наивысшее оправдание иероглифической письменности! После этого оправдания от ваших доводов о золотых медяках времени и об утечке энергии — ничего не остается.

Запомните раз навсегда, запишите вашим неподражаемым гвоздем, вашими жалкими литерами вот что. В главной канонической книге конфуцианства — «Луньюй» есть фраза: «в пределах четырех морей (т. е. всего мира) все люди — кровные братья». Русский, китаец, японец и мексиканец, о которых говорит Пильняк-сан, — братья, и поэтому они должны понимать друг друга. Они могут понять друг друга при помощи иероглифов.

В основу нашей азийской иероглифики положена великая идея, идея духовного братства народов всех «четырех морей»!

XI. ОБ ОДНОМ ЯПОНСКОМ ТОННЕЛЕ

(К главе «Шум гэта»)

На острове Кюсю в провинции Будзэн, около местечка Ао, путешественникам часто показывают один тоннель, маленький, узкий тоннель, годный только для пешеходов, пробитый кирками в первой половине XVIII века сквозь гигантскую гору-скалу, что возвышается над рекой Ямакунигава. До появления этого сквозного отверстия в каменной громаде приходилось делать длинный и леденящий душу путь: проходить по скрепленному цепями мостику-дорожке из бревен, который, вися над гулкой пропастью, опоясывал гладкую, как ширма, скалу. До появления этого тоннеля многие путники, у которых был неудачливый гороскоп, низвергались в бездну с этого колыхающегося мостика-пояса. Быль о прорытии этого тоннеля, остановившего бесплодные жертвоприношения, быль, уже два раза вдохновлявшая современного японского беллетриста Кикути, может служить незаменимой иллюстрацией к словам Б. А. Пильняка: «Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки верст». Перескажем эту быль, уже дважды кипевшую в творческом тигеле Кикути, собственными словами, словами строгого историка.

Один эдоский самурай, спихнутый роком с правильного пути после невольного убийства своего владыки, проведший после этого тяжелую многогрешную юность и вконец уставший от необузданного разврата и неисчислимых убийств, вдруг обрил себе голову и, надев четки на пальцы, пустился в странствие по Японским островам.

В 1724 году он пришел в деревню, около которой висел на груди скалы смертоносный мостик. Увидев очередные трупы и эту колыхающуюся тропу в ад, кающийся путник, — его звали Рьокай, — вдруг запылал диким безрассудным желанием: вооружить жителей окрестных деревень кирками и лопатами и ценой каких бы то ни было усилий продолбить через гору-скалу-громаду зияющий проход. Но страстные речи пришельца, исступленные призывы его ударились о скалу недоуменного изумления всех. Тоннель сквозь гигантскую каменную массу голыми руками? Скорее можно построить пагоду из булыжников до луны, чем этот тоннель, случайно приснившийся безудержному фантасту. Рьокай молча взял кирку и принялся один за работу; к вечеру подножие каменной громады было слегка поцарапано. Вид человека, повидимому рехнувшегося, остервенело колотящего по скале, был поистине жалким. Первые дни жители, посасывая крохотные трубки, любовались издалека комическим зрелищем, но вскоре это им надоело — актер был убийственно однообразен. Когда Рьокай через год, прорыв около двух сажен, скрылся в дыре, его почти все забыли. Через четыре года пробоина в горе была длиной в семь сажен, а на девятом году глубина пещеры уже достигала пятидесяти четырех аршин. Стук кирки из дыры делался все глуше и глуше. Окрестные жители, не читавшие Шекспира, сказали себе: «Если это и безумие, то довольно систематическое, и стали понемногу помогать Рьокаю. Начинали помогать, постепенно загорались надеждой, бешено стучали, потом постепенно незаметно уставали, разочаровывались, отчаивались и, покачивая головой, уходили из темной пещеры — сколько было таких! Но Рьокай работал, неутомимый, ровный, безмолвный, и только по ночам пугал своих помощников радостными воплями во сне. На восемнадцатом году после

начала работы Рьокай уже не мог ходить — он мог только стоять на коленях и бить киркой; к тому же он полуослеп от вечной каменной пыли и от вечного каменного сумрака. Как раз в этом году в деревню забрел один самурай, который, расспросив словоохотливых жителей о личности Рьокая, вдруг просиял и, схватившись за рукоять меча, бросился в пещеру. Добежав до места работ, он схватил полуслепого бонзу за шиворот и громко назвал себя; он оказался сыном сановного самурая, павшего когда-то от руки Рьокая; сыну убитого пришлось, согласно велениям самурайских обычаев, по достижении совершеннолетия пойти разыскивать убийцу отца, чтобы выполнить акт священной мести; после девяти лет, невозвратно растерянных на японских дорогах, он наконец пришел к цели. Помощники Рьокая камнями отогнали самурая и после долгих увещеваний вырвали у него согласие подождать до конца работ, до завершения тоннеля. Первое время самурай зловеще сидел в стороне, наблюдая за работающими, но через несколько дней решил присоединиться к ним, чтобы ускорить хотя бы на минуту приход сладостного мига — удара мечом по шее Рьокая. Самурай взял кирку и, став на колени рядом со смертельным врагом, неистово заколотил по камням. Самурай и бонза бок-о-бок, плечо-о-плечо проработали ровно год и еще шесть месяцев, и в одну сентябрьскую ночь 1745 года — как раз на двадцать первый год после первого удара — кирка Рьокая, как-то странно звякнув, застряла в скале, и перед всеми внезапно сквозь отверстие открылось звездное небо, огоньки деревень на горах и берег отчетливо журчащей реки. Бонза бросил кирку, хрипло крикнул что-то и упал к ногам самурая, подставив свою голову под меч. Но тот, потрясенный и смятый этим небывалым человеческим подвигом, этой чудовищной победой эфемернейших человеческих рук, этим ослепляющим торжеством человеческого труда, молча опустился на колени, подняв рыдающего старика с земли, и крепко, крепко обнял его.

Так повествует Кикути в двух своих вещах: в повести и драме, по-карлейлевски «снимая крупным планом» щуплую фигуру Рьокая и нахлобучивая на голову последнего тяжелый, ярконачищенный нимб, крестьян же, без помощи которых Рьокай умер бы на десятой сажени, заставляет играть роль неприметных никтошек. Если бы Кикути приехал в Москву и поучился хотя бы месяц в Кутве, что на Страстной площади, он, вне всякого сомнения, написал бы еще раз об этом тоннеле. Но в третий раз — а в третий раз японцы говорят: «сандомэ но сьодзики» — истина торжествует — в третий раз Кикути отбросил бы в сторону мелодрамный сюжет с истерико-героем бонзой и всепрощающим самураем и написал бы только вот о чем:

— О том, как крестьяне нескольких деревушек провинции Будзэн двадцать с лишним лет непоколебимо боролись с каменной стихией, о том, как они ее великолепно победили!

XII. ОСАНАИ КАОРУ

Родился в 1891 году. Окончил литературный факультет Токийского университета. Автор ряда романов, новелл, драм и теоретических работ по театру. Организовал вместе с одним из лучших актеров японского классического театра Итикава Сандзи «Свободный театр», который наряду с театром проф. Цубоути открыл свыше десяти лет тому назад новую эру в истории японского театра. Ныне Осанаи состоит в качестве одного из режиссеров театрика в квартале Цукидзи в Токио; на сцене этого маленького театра ставятся вещи Стриндберга, Газенклевера, Чехова, Метерлинка, Л. Толстого,

Чапека, Пиранделло, Горького, Вильдрака, Кайзера и О'Нейля. Три постановки Осанаи подвергались запрещению со стороны полиции.

XIII. «ДОРОГА ЦВЕТОВ». ВЕРТЯЩАЯСЯ СЦЕНА

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

В 1668 году в театрике Кавараcакидза впервые была устроена деревянная тропа, пересекающая весь зрительный зал и концом перпендикуляра упирающаяся в сцену. Тропа была предназначена специально для того, чтобы на ней раскладывали подношения актерам. Но вскоре по этой тропе стали шествовать и бегать по ходу действия, и она стала незаменимой и неотъемлемой частью сцены. Между прочим в театре «Но», театре Асикагской эпохи, фигурирует мост — хасигакари, который может показаться прототипом «дороги цветов». Но ныне историками театра непоколебимо установлено, что мост не имеет никакого отношения к «дороге», последняя развилась совершенно самостоятельно.

Уже во втором десятилетии XVIII века на японской сцене стали применяться технические ухищрения. История японского театра сохранила имя крупного сценического новатора в Эдо — Накамура Дэнсити, изобревшего движущиеся декорации и переворачивающиеся сценические коробки. Этот Всеволод Накамура делал полные сборы в театре своего имени — «Накамура-дза», показывая остроумные фокусы сценического оформления. В пятидесятых годах XVIII века все театры стали уделять острое внимание технике моментальной смены сцен, и здесь была поставлена проблема о верчении сцены. Вначале на самой сцене ставили площадку на колесах, и три-четыре никтошки медленно поворачивали ее, но в 1793 году — в год французской революции — на японской сцене тоже произошел переворот. Один из оформителей догадался построить сцену наподобие карусели или волчка. Вскоре сцена весело закружилась, и стало навеки возможным мгновенно менять сцену и одновременно показывать два действия, происходящие в разных местах.

Гото Кэйдзи в своей истории театра Японии помещает слова одного японского театроведа XVIII века, автора трактата «Кйогэн-сакусьо». Этот автор отрицательно относится ко всей театральной инженерии, техническим махинациям на сцене, утверждая, что они вредят подлинному мастерству актеров и разрушают обаяние театрального действа. Автор говорит, что театры стали прибегать к всевозможным установочным трюкам и частым сменам сцен только по той причине, что: «актеры неискусны и незрелы в своем мастерстве и не могут выдерживать продолжительных сцен». «Вертящиеся и подъемные приспособления, — говорит он далее, — возникли только благодаря падению чистого актерского мастерства».

Что он сказал бы теперь, если, воскреснув, очутился бы в Москве? Наверное, всплеснув руками, попросил бы как можно скорее перевести его книгу на русский язык...

XIV. НАЧАЛО ЭРЫ

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

> ...Молодое, европеизированное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы, — подпочва для его возрастания созрела в Японии.
>
> (Из главы «*Театр и живопись — элементами формулы шара*».)

После того как японцы стали во второй половине прошлого столетия воспринимать европейскую культуру, японское изобразительное искусство разделилось на чисто

японское, верное исконным традициям восточно-азийского искусства, и японо-европейское, целиком основанное на европейской изобразительной технике. Противостояние этих двух фракций продолжается до сих пор, но в последние, послевоенные годы наметился знаменательный процесс — процесс синтеза японских и европейских принципов изобразительного мастерства. Мастера, пишущие японскими водяными красками китайской кистью на шелку, начали внимательно изучать постимпрессионистов и Пикассо, и на новейших какэмоно и ширмах замелькали коричневые голые женщины на фоне невероятно ярких пейзажей, пятиугольные яблоки, сине-зеленые горы и деревья и расплывающиеся кубы. И в то же время художники, возвратившиеся из Парижа, прямо из мастерских Лорансэн, Дюфи, Глэза, Архипенко и др., начали делать рисунки тушью в стиле «нанга», украшать бумажные ширмы композициями в стиле японских и китайских классических мастеров. Японские «парижане» не бросают привычное для них масло, темперу и сангину, которыми владеют очень уверенно, но многие из их творений могут привести в отчаяние даже самого опытного музейного эксперта, ибо невероятно трудно решить, в каком зале повесить их — в зале японо-китайской живописи или новоевропейской. Таковы, например, гибридные опусы большого мастера Кисида Рюсэй, изучавшего раньше Дюрера и Сезанна, а теперь штудирующего старинных китайцев и ранних укийоэистов. Таковы, например, вещи Косуги Мисэй, Цуда Сэйфу, Цубаки, Садао, Морита Цунэтомо и Накагава Кигэн. Между прочим последний до недавних дней очень изобретательно подражал Матиссу, но осенью 1926 г. на выставке «Ника», японского Салона Независимых, вдруг выставил эскизы тушью в чисто японской манере, пожалуй, в стиле хайга— иллюстраций к хокку. Анонимный хронист, обозреватель из ежегодника газеты «Майнити», справедливо утверждает, что скоро придет время, когда картины маслом, написанные японцами, нужно будет относить к восточно-азийскому искусству и вешать рядом с какэмоно, сделанными водяными красками и тушью, ибо разделяющая черта между «японо-японской» и «японо-европейской» живописью медленно, но верно тускнеет.

На всем протяжении истории японского искусства мы видим отчетливое ритмичное чередование эпох — эпох подражательных, в течение коих японцы торопливо, ученически вбирали в себя иноземную художественную культуру, и эпох самостоятельных, когда из синтеза импортированных элементов искусства с самобытными национальными возникала эпоха величавого блистающего расцвета. Так танская живопись породила эпоху школы Яматоэ, искусство северосунских мастеров вызвало к жизни Сэссю и Кано Мотонобу, а картины маслом и дешевые олеографии, случайно завезенные голландскими арматорами в Нагасаки в XVII и XVIII веках, оказали неизгладимое влияние на токугавские ксилогравюры.

Сейчас, когда японцы уже усвоили до конца после двадцатилетнего ученичества все завоевания европейцев — от импрессионизма до конструктивизма, не стоим ли мы сейчас на пороге нового очередного японского Ренессанса?

У японцев летоисчисление идет по эрам. Сейчас у японцев эра Сьова — эра «Светлого Мира», начавшаяся с 1926 года. Не стоим ли мы сейчас на пороге новой эры, эры великого синтеза азийского и европейского искусств?

XV. ЯПОНСКИЕ ПИСАТЕЛИ И Б. ПИЛЬНЯК

(К главе «Япония — мне: общественность»)

О Б. Пильняке в дни его пребывания японцы писали очень много; в ряде журналов были помещены статьи,

причем несколько статей в левых журналах являлись приблизительным пересказом статьи Л. Троцкого; на обложке журнала пролетарской литературы «La Fronto» (майский номер) было написано большими буквами: «Воспеваем праздник труда» и на другой стороне листа: «Встречаем Б. Пильняка».

Фарреру, Келлерману, Ибаньесу никаких встреч японцы не устраивали; Клоделя встречали как посла Франции, как сиятельного заморского вельможу, его встречали гвардейский караул и чиновники в цилиндрах, но русского писателя Пильняка встретили и окружали за все время пребывания в Японии его товарищи по работе — японские писатели. Лучше всего отношение японских литераторов к советскому гостю, приезд которого прибавил много седых волос на голове начальника оперативного отдела токийского департамента полиции, выразилось в небольших «дзуйхицу», помещенных в журналах «Бунгэй Сюндзю» и «Бунгэй Сэнсэн». В первом описывается писательская вечеринка, устроенная в честь прибывшей четы, причем автор говорит, что хотя гости и хозяева не могли объясняться непосредственно, тем не менее весь вечер прошел под знаком крепкого братского языка душ, инициатором которого может быть, по мнению автора, только русский человек. Во втором журнале пролетарский писатель Сасаки Такамару пишет на тему о том, что у англичан и американцев, приезжающих в Японию, всегда с носа капает чувство национального превосходства, оскорбительная спесь европейцев, — советские же гости, к большому изумлению автора, в этом отношении наглядно доказали, что они уже перестали быть европейцами.

XVI. «ЯПОНИЯ № 2»

(К главе «Япония — нам: общественность»)

(Из записной книжки)

> Когда простолюдины встречаются на дороге со знатными, то, пятясь назад, прячутся в траву.
>
> (Из китайской летописи «*Вэйчжи*» [описание японцев III века после р. Хр.].)
>
> «Мы научили японцев капиталистическому режиму и войне. Они кажутся нам страшными потому, что становятся похожими на нас. И это, на самом деле, в достаточной мере ужасно.
>
> *А. Франс.*

1. Цифры

* Беру несколько цифр из сентябрьской книжки «Кайхо», «La Emancipo» — органа японского левого фронта общественности.

* Япония пролетарская состоит из 9 880 000 человек.

Ядро японского пролетариата, великая триада — фабрично-заводские рабочие, горняки и транспортники — насчитывает 4 348 000 человек.

Объединено в рабочие союзы — 241 000 человек. Эта лейб-гвардия японского пролетариата, отборная часть, состоит из 209 рабочих союзов, девяносто четыре процента которых родилось после 1918 г.

* Сельская беднота — косакуно, что значит «крестьяне, обрабатывающие мелкие наделы», «мелконадельники» — состоит из 3 800 000 семей.

В союзах мелконадельников состоит 306 000 человек. Эти мелконадельники — члены союзов — ведут сейчас нескончаемую борьбу с помещиками. Они ведут борьбу

напористо и спаянно, совсем не так, как их деды, которые только в припадке отчаяния бросались к набату, пронзительно дули в раковины, вооружались бамбуковыми копьями и, помахивая соломенными хоругвями, оголтело шли к замку даймьо, подавали ему челобитную и, получив подачку-уступку, торопливо выдавали застрельщиков, а потом через несколько дней вытирали слезы перед их почерневшими головами.

Теперь завязка и развязка крестьянских выступлений делаются совсем по-другому. Вожаки, вместо того чтобы ставить свои отрубленные головы на бамбуковые треножники с дощечкой, ставят небрежные подписи на листах показаний в полицейских и жандармских участках.

* В ногу с рабочими городов и рабочими деревень идут 50 000 «эта», членов «Ассоциации уравнения по ватерпасу». Этот экзотически звучащий союз состоит из выходцев из касты отверженных, по-японски — «эта», что значит «поганые». Каста официально существовала в Японии до 1871 г., и по сьогунским декретам каждый «эта» считался $^1/_{12}$ человека, т. е. человек, зарезавший с умыслом дюжину «эта», судился за убийство о д н о г о человека, хотя по тем же сьогунским декретам — при сьогуне Цунайоси — за убийство ласточки человеку отрубали голову.

* В качестве попутчиков идут 10 000 членов Всеяпонской лиги «салариманов», объединяющей союзы мелкой служилой интеллигенции городов Токио, Осака, Кобэ и Киото. Один из японских революционных стратегов, коммунист Тагути Ундзо, бывший секретарем у т. Иоффе, когда тот жил в Токио, безоговорочно помещает их в лагере пролетариев.

* Итак, в союзы объединено 250 000 рабочих, 300 000 крестьян, 50 000 «эта» и обоз — 10 000 очкастых воротничков.

* С точки зрения арифмометра, эти цифры не внушительны.

Пока объединено только 5% основного кадра пролетариата. Особенно плохо организованы текстильщики, железнодорожники и горняки — от одного до трех процентов.

Мелконадельники объединены немного лучше — почти девять процентов всей крестьянской бедноты — члены союзов. Но 91 процент, увы, пребывает еще в первозданном состоянии.

* С точки зрения арифмометра, иногда бывающего глупым, эти цифры кажутся жалкими. Но не всегда надо верить арифметике. Цифры эти звучат совсем по-другому, если повернуть их со стороны качества.

Лучшее средство излечиться от пораженческого настроения тому, кто следит за кривой японского пролетарского движения, это — внимательно и медленно читать газетно-журнальные отчеты о забастовках, аграрных конфликтах и отдельных выступлениях японских революционеров. Каждый поймет, что в настоящий момент головная фаланга пролетарской Японии находится в фазе трудного, но медленно преодолеваемого искуса.

* Япония № 1, императорско-генеральско-вертикально-трестовская Япония, во второй половине XIX в. пролетела в течение сорока лет тот путь, по которому белые державы ковыляли в течение четырех столетий.

Япония № 2, Япония пролетарско-революционная, которая начала свою настоящую историю с 1918 г., побила рекорд Японии № 1, пройдя столетний путь европейских рабочих в восемь лет. Время сгустилось в двенадцать с половиной раз, и у японских пролетариев сейчас год имеет 29 дней.

* И отчеты, о которых говорилось выше, надо читать так, как Гершензон рекомендовал читать Пуш-

кина. Тогда каждый поймет сокровенный смысл таких фактов, как каракозовский выстрел Намба, выступления мелконадельников в префектуре Нинигата, Сибаурская стачка, победы левого фронта профсоюзов — Хьогикай и т. д., и поймет, что дело не в арифмометре, показывающем внушительные цифры, а в качестве этих цифр и в беге сгустившегося времени.

* Нестественно быстрый рост не проходит безнаказанно. Он всегда сопряжен с патологическими казусами.

Япония № 1, имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и вертикальные тресты, одной ногой еще стоит в средневековьи. Возьмите непрекращающиеся распарывания животов, кровавые рецидивы походов Хидэйоси на Корею, бывших в конце XVI века, культ демонов и неистребимый институт наложниц.

Точно так же и Япония № 2, упираясь в первую четверть XX столетия, не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века. Проф. Лондонского экономического института Повер, приезжавшая несколько лет тому назад в Японию вместе с Б. Рэсселем, попала в интернат для работниц при одной из токийских фабрик (в квартале Хондзьо). Изумленно оглянувшись и зажав нос, ученая миссис сказала, что она видит воочию английскую фабрику эпохи промышленного переворота... (Эта фраза цитируется в книге доцента коммуниста Сано «Введение в изучение социальной истории Японии».)

* Сейчас 60% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — женщины.

Нужны гомерические усилия, чтобы этих брошенных в XVIII век безропотных невольниц превратить в пролетарских амазонок. Это будет сделано — людьми и временем.

* Сейчас 10% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — дети, подростки до 15 лет, которых нещадно эксплоатируют.

Возьмите какое-нибудь описание жизни детей на английских фабриках во второй половине XVIII века, немножко смягчите углы эпитетов, сократите несколько цифр, выбросьте несколько междометий, вместо названий Манчестер, Больтон, Стокпорт поставьте названия японских городов, и у вас получится интересная, изобилующая свежими фактическими данными заметка «О положении детского труда в сегодняшней Японии».

Я иногда молюсь так:

* Слушайте, Чарльз Диккенс, если метампсихоз не сказка, то, ради бога, вселяйтесь в японского романиста Кикути и напишите несколько новых «Никкльби» из жизни японских фабрик!

2. До-история

* До 1918 г. была до-история. Настоящая история, плотная, туго набитая фактами и связанная, идет с 1918 г.

До-история состоит из отдельных разрозненных событий, всплесков, отрывочных выступлений. Первые рабочие союзы, созданные стараниями энтузиастов-интеллигентов, вернувшихся из Америки, появились в последнем десятилетии XIX века. То был период героической деятельности трогательных идеалистов, энергичных пионеров и непреклонных безумцев. Вот они: «японский Роберт Оуэн» — Сакума Тэйити; первый организатор союза рикш, впоследствии казненный — Окуномия; Накадзима Хандзабуро — автор и режиссер первой японской стачки на Гавайских островах, зачинщик крестьянского движения в Маэбаси, самоотверженный чудак, окрещенный всеми «сумасшедшим». Это — будущие славные члены японского пролетарского Пантеона.

* Первая в истории Японии рабочая демонстрация состоялась 10 апреля 1898 г. В восемь часов утра 800 рабочих собрались в помещении организации, повернулись в сторону императорского дворца, прокричали троекратное банзай в честь сына неба и, надев головные уборы, специально сшитые к этому дню, пошли стройными рядами в парк Уэно под пенье первой в Японии рабочей песни. Придя в парк, где было больше полицейских, чем деревьев, они откупорили сакэ, съели обед, принесенный ими в деревянных коробочках, и в три часа дня чинно, с достоинством, разошлись. (В этот день ответственным распорядителем демонстрации был один юноша, незадолго до этого возвратившийся из Америки, где он блестяще кончил университет с званием бакалавра. Вскоре этот юноша стал наряду с анархистом Котоку в первых рядах японских революционеров, а после начала полицейского террора вынужден был эмигрировать. Теперь его, уже шестидесятилетнего старика, можно часто видеть тихо шагающим по Тверской. Теперь он — непременный член исполкома Коминтерна, и зовут его Сэн Катаяма.)

* В этот памятный день на улицах Токио впервые зазвучала песнь, которая начиналась так:

Даже гора Фудзи, что высится в небе, —
Это только глыба комьев земли.
Товарищи по работе, настало время —
Возьмемся за руки,
Вместе — наступать иль отступать.
Будем биться крепкими рядами.
Ну-ка, перегони гору Фудзи
В своей крепости и спаянности.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.

* (Первомай был отпразднован в первый раз в Японии группой социалистов в 1905 г.)

* Эти рабочие организации были эфемерны — рождались в результате отчаянных усилий и быстро лопались при первом тычке полицейского пальца или после первого провала стачки.

В это же время когорта революционеров во главе с Котоку, Катаяма и другими бешено пробивала себе дорогу сквозь стену полицейских и охранных псов. Скрипящие тюремные ворота стали для них добрыми старыми знакомыми.

* В 1910 г. принц Кацура, премьер-министр, генерал, не видавший ни одного боя, решил уподобиться богу Сусанооно-микото, некогда отсекшему разом все головы у зловредной гидры. В июне этого года 26 революционеров во главе с Котоку и его женой Канно Суга были внезапно схвачены. В январе следующего года, после приговора верховного суда, с ними торопливо расправились. Двенадцать — в их числе чета Котоку — были удавлены. В Японии смертная казнь производится при посредстве особой машины «косюдай» — «горлодавилки», в объятиях которой смерть наступает не раньше как через пятнадцать минут. (Мне один товарищ прокурора говорил, что многие умирают с улыбкой, ибо смерть на «давилке» очень приятна.) Еще двенадцать были присуждены к каторге на всю жизнь. Из них умерло до настоящего времени — пять, сошел с ума — один, остальные шесть еще живы. С ними сообщаться нельзя никому, родные и друзья простились с ними навсегда 15 лет тому назад. Причина ареста и расправы неизвестна, ибо в печать попало только несколько туманных и кратких, как танка, сообщений. Обо всем процессе известно столько же, сколько сыну моему Аттику о биографии первого царя на Сатурне. В правительственном коммюнике было глухо указано, что Котоку и его товарищи были накануне какого-то невероятного престу-

пления, которое, буде оно осуществлено, покрыло бы их извечным позором. Их просто удержали от этого faux-pas...

* Ликвидация 24 и последовавший за ним полицейский террор достигли цели — революционное и рабочее движения на время были стерты с лица земли.

* В 1912 году адвокат Судзуки робко организовал, оглядываясь на нахмурившего брови минвнудела, «Общество дружбы» — «Юайкай» — рабочий союз с вегетарианской программой. В почетные советники был приглашен промышленный даймьо барон Сибудзава. Благодаря удачливой звезде союзик просуществовал до 1918 года, а затем он вдруг стал быстро разбухать, как отрок Момотаро из популярнейшей японской сказки.

3. Война на белом Западе

* Август 1914 года. Война. Вступление Японии в войну. Штурм Циндао. Отчаянное обогащение Японии — рынки, военные заказы. Нарикины — скоробогачи растут, как бамбуки после ливня. В Японии жизнь, т. е. рис, дорожает. Революция в России. Вторая. Газетные телеграммы о двух монстрах: «Рэйнин» и «Тороцуки». Учащение пульса в интеллигентских кругах. Дальнейший подъем риса. 1 сьо — около двух литров — 20 копеек. 21—22—25. Совет депутатов уже в Урадзио (Владивостоке), в 36 часах от Цуруги. Рис: 26—28—30. Студенты уже читают статьи Кропоткина и речи «Рейнина». Зенит войны. 32—35—39...

4. 1918 год

* 1918 год — один из интереснейших в истории Японии. Он может смело стать рядом с 1848, 1871 и 1905, на одну ступеньку ниже их величеств — 1793 и 1917.

* Прочитайте автобиографический роман одного из рабочих лидеров — Асо — «Рассвет». Первые страницы этой

книги посвящены 1918 году. Начиная с апреля этого года, настроение в интеллигентских кругах делается напряженным. Особенно сильное идейное возбуждение видно среди студенческой молодежи. Сообщения о двух революциях в России производят такое же впечатление на молодую Японию, как некогда вести о парижских коммунарах на русских идеалистов. Токийские студенты начинают организовывать кружки — отдаленные копии кружков Каракозова, Чайковского, Долгушина и др. В этих кружках — «Общество новых людей», «Кружок четверга», «Союз народников», «Союз творцов», «Общество рассветного народа» и др. — круглые ночи сидят над книгами по социализму и анархизму, особенно над Кропоткиным и Рэйнин — Лениным, разбирают случайно добытые декреты правительства советов, пылко спорят о сроках японской революции и в заключение читают «Новь» или «Отцов и детей». Среди молодежи появляется мода — отпускать волосы до плеч, зачесывая их назад, и носить русские рубашки. Многие бросают учиться и перебираются в рабочие кварталы или едут в родные деревни платить долг своим «младшим братьям». Неслыханная вещь — лучшая часть выпуска Токийского императорского университета в 1918 г. отказывается от бюрократической карьеры и идет в ряды рабочих организаций. Герой «Рассвета» восклицает: «Когда думаешь о России — не сидится на месте». В другом месте он гневно говорит: «Неизвестно, когда к нам придет рассвет. Рабочие наши спят на заводах и фабриках, а крестьяне уткнули носы в землю...»

* 1 сентября 1923 года, накануне великого землетрясения, в Токио было необычайное удушье и над «градом обреченным» появилась большая черная туча. Кажется, многие чувствовали «что-то».

В 1918 г. были и удушье и черная туча, и студенты недаром до хрипоты спорили в синих от дыма деревянно-бумажных комнатушках о «решающих сроках».

Рис долез до 45 сэн, а потом, немного подумав, вдруг в первые дни августа скакнул до 50. Первые дни августа были неописуемо тревожными. Призрак беды гулко бил крыльями в воздухе.

3 августа — кабинет генерала Тэраути объявляет о посылке войск в Сибирь для восстановления порядка.

5 августа — главная обсерватория предупреждает об урагане, идущем с юга.

6 августа — в городе Тояма толпа голодных женщин начала громить рисовые магазины. Тоямки дали знак, и по всей Японии начались бунты городской и деревенской бедноты, бунты, бушевавшие весь август и в последний раз вспыхнувшие ярким пламенем на угольных копях на Кюсю. Правительству, только что пославшему несколько дивизий для покорения сибиряков, пришлось двинуть полки пехоты и жандармерии против японцев. 10 000 бунтовщиков было загнано в тюрьмы, а число убитых не удалось установить, ибо трупы считают только на настоящей войне.

* Рисовый август потряс всю Японию. После него, как после землетрясения, выбрасывающего на поверхность океана вулканические острова, на поверхности японской социальной жизни вырисовалось аграрное и рабочее движение. 1918 год — высшая точка забастовочной кривой: в этом году бастовало 66 457 рабочих — в девять раз больше, чем в 1914 г. Начались первые организованные выступления «мелконадельников» против аграриев — начались стачки и локауты на полях.

* Быстрый рост «Общества дружбы» — рост всех рабочих союзов — рост рабочего фронта. Адвокат превращается в лидера рабочих, начинает толстеть и держать себя увереннее при встрече с бароном. В 1919 году к имени «Общество дружбы» прибавляется название: «Федерация труда».

* Сплочение старой гвардии социалистов — уцелевших — с революционерами призыва 1918 года. Попытка в 1920 году образовать социалистическую лигу. Молниеносный разгон. Рисовый август и идейный ураган 1918 года, оказывается, не сделали ни одной трещинки на фасаде империи...

* Конец войны. Германия — локаут. Государство нарикинов — скоробогачей — в панике. Начало экономической депрессии. Массовое самоубийство банков и фабрик. Вал на рабочих. Депрессия свирепеет. Стеклянный колпак, из которого выкачан воздух. Атака на рабочих со стороны верхних «двух тысяч». (В Японии имеющих больше 500 000 эн только две тысячи человек.) Отчаянное сопротивление рабочих. Японская пословица: «Загнанная крыса кусает кота».

5. После землетрясения

* Ночью 1 сентября 1923 года, после великого землетрясения, лишенные крова токийцы, столпившись на пустырях, в парках и в переулках, смотрели издали на горящие кварталы, по которым носилась колесница бога Кагуцути. Подземные толчки продолжались беспрерывно. Кругом был тяжелый мрак, похожий на густо разведенную тушь. Все чувствовали себя беспомощнее метерлинковских слепцов. И вот тогда среди них незаметно родились жуткие слухи о том, что правительства нет — все министры раздавлены и что на Токио дикой оравой прут корейцы, которые вкупе с японскими революционерами захватят власть и начнут уничтожать уцелевших. Древний ужас охватил всех.

* В эту же ночь начали формироваться отряды самообороны. Полиция и жандармерия, которых ни огонь, ни вода, ни взбесившаяся земля почему-то не догадались слопать, немедленно установили связь с этими отрядами. Слухи ширились с каждой минутой. И вот тогда началось то ужасное, что легло навсегда несмываемым пятном на японцев, — избиение корейцев и японских левых. Надо быть справедливым — это правда, что полиция и жандармерия спасла много левых от верной смерти, принудительно интернировав их в участки. Но не во всех участках удержались от сладостного соблазна. Жандармский капитан Амакасу не вытерпел этой невообразимой пытки и собственноручно задушил веревкой вождя японских анархистов Осуги, его жену и его девятилетнего племянника. Два больших трупа и один маленький трупик были швырнуты в колодец во дворе жандармского штаба. Эти полицейско-жандармские грехопадения случились еще в ряде мест, например, в Камэидо, где была изрешетена пулями куча юношей-коммунистов и вожаков рабочих союзов.

* Но корейцев не щадил никто — ни люди с пуговицами ни в кимоно. Безоружных, потешно лопочущих о чем-то, дружно, трудолюбиво истребляли, как в конце XVI века во время корейского похода Хидэйоси. Мне, корейцу, трудно писать со спокойным дыханием об этих сентябрьских расправах. Нужно быть беспристрастным и уметь строго и незамутимо ясно писать подобно китайским придворным хронографам.

* Великое землетрясение и гекатомбы нанесли оглушающий удар левому флангу японской общественности и рабочему движению. Но, как говорит японская пословица: «После ливня твердеет земля». Через год рабочие и левые опять построились в боевое каре. Но здесь начинается новая страница.

6. Алые и желтые

* Намечаются два крыла. Экстремисты и реформисты (по-японски «хийоримиха» — «следящие за погодой», «погодники»). Начинают скрытую борьбу за преобладание в рабочих союзах. Переходят к открытой борьбе. Начало войны алой и желтой роз. Съезд Федерации труда в феврале 1925 г. Схватка. «Погодники» изгоняют алых. Те возводят цитадель с красным флагом — Хьогикай — Совет рабочих союзов. Осень 1926 г. — у «погодников» — 43 000 рабочих, у хьогикайцев — 34 000.

Попытка хьогикайцев образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел разгоняет партию.

Попытка «погодников» образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел кивает утвердительно.

* Левый фланг японской интеллигенции сейчас в мучительной идейной диоспоре. Большая часть — попутчики пролетариата. Позиция дружественного нейтралитета. Интеллигентский актив — «погодники» и алые. Алые делятся на: 1) хьогикайцев и их союзников, работающих в рядах рабочих союзов, 2) революционеров — одиночек, террористов.

* Террористы сделали после землетрясения 1923 г. несколько неудачных выступлений. Пули студента Намба Дайсукэ только поцарапали августейшую карету, а выстрел Вада Кютаро в спину генерала Фукуда вызвал только ожог величиной в пятисэнную монету. Высокопоставленные объекты отделались дрожью в ногах и сердцебиением, но напугавшие их были решительно вычеркнуты из жизни: Намба задохся на «давилке», а Вада недавно пошел на пожизненную каторгу. В прощальном письме-завещании друзьям, помещенном в жур-

нале «Кайлзо», Вада, перед тем как навсегда уйти в мир тюремного мешка и чугунной тачки, жизнерадостным, звонким, срывающимся от юности голосом заявляет:

— Что капиталистическому строю осталось жить очень мало, это — ясно. Наше дело все время идет вперед!

7. Поют

* Б. А. Пильняк приводит любимую песенку текстильщиц. Приведу еще несколько из незабываемой книги японского пролетарского писателя Хосода «Печальная повесть о работницах». Песенки состоят из 24 силаб и соответствуют русским частушкам.

* Работницы, живущие в фабричных интернатах-тюрьмах, поют:

Эх, хорошо бы, если
Интернат снесло бы водой,
Если б фабрика сгорела
И от холеры сдох бы сторож!

* Или:

Эх, мне бы крылья,
Чтоб улететь отсюда
Ну, хотя бы вот туда,
До того холма!

* Перед свиданием работницы-интернатки с родителями:

Я хотела бы слезы от радости встречи
В чайную чашку собрать
И дать родителям выпить,
Сказав, что это — сакэ...

XVII. ВМЕСТО ГЛОССЫ — СОВЕТУЕМ

(К главе «Япония — миру»)

Желающему подробно познакомиться с политико-экономической организацией сегодняшней Японии советуем взять две дельные методологически выдержанные книги:

«Япония» проф. О. Плетнера и «Япония в прошлом и настоящем» доцента К. А. Харнского. Всякий, кто честно прочтет эти книги, может со спокойной совестью на следующий день выступить в Политехническом зале на Лубянке с публичной лекцией на тему: «Судьбы японского капитализма, или куда идет Япония». Успех гарантируем.

КИТАЙСКИЙ ДНЕВНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Я стою на берегу Ян-Цзы. Во всем мире одинаково детишки строят из песка песчаные города, в России тоже. Китайские деревни похожи на это детское строительство: плоскокрышие глиняные дома, глиняные заборы, лессовые желтые переулочки, — все, выжженное желтым солнцем. Говорят, некоторые породы термитов так же строят термичьи свои города. Европейцы любят китайцев сравнивать с термитами и с желтыми муравьями, потому что китайцев везде очень много, и — на глаз европейца — во-первых, стирается индивидуальность каждого в отдельности китайского лица, а во-вторых, непонятно, куда, зачем, откуда идут эти бесконечные китайские толпы. Эта китайская деревня, имени которой я никогда не узнаю, тянется на десяток верст. Другого берега Ян-Цзы почти не видно, эта река раз в пять шире Волги, река, где ходят океанские купцы и броненосцы; — по реке, под деревянными своими парусами, — на глаз европейца задом наперед, ибо корма поднята, а нос плосок и опущен,—идут сампаны. На рейде дымит английский кононер.

И вот я слежу. В желтой воде, похожей на перепрелый чай, около берега плывет труп китайца. Лицо его опущено в воду, видны коричневая спина и синие штаны, труп распухнул, — вода несет его с величайшей медлительностью, покойно покачивая. Берегом я иду за трупом. Волна прибила его к берегу. Старик-китаец — должно

быть рыбак, — голый, прикрывший лишь чресла синей тряпкой, в соломенной шляпе, похожей на зонтик, — длинным бамбуковым шестом отталкивает труп от берега. Труп вновь подплывает к земле. Старик вновь отталкивает от земли. Труп покойно качается на воде, плывет ногами вперед, попал в воронку течения, трижды повернулся, покачался и поплыл вперед головою; глупо, но надо сознаться, — спокойнее видеть, когда труп плывет головою вперед; но, должно быть, были некие физические законы течения воды и течения трупа, потому что каждый раз, успокаиваясь, труп начинал плыть вперед ногами. — Ян-Цзы-Цзян —Великая китайская река — —

...Я живу на сеттльменте, на международной «концессии». Под окном дома, где я живу, течет рукав Ян-Цзы—Ван-пу, весь в пароходах, волнах, дыму, сампанах, потому что этот город — самый большой из всех городов, лежащих по берегам Великого океана, больший, чем Сан-Франциско, громадный порт, куда приходит ежедневно до ста пароходов океанского тоннажа, — громадная рана, откуда вытекает кровь Китая, выкачиваемая насосом Ян-Цзы, — прореха китайских великих стен, в которую вместе с английскими пушками и дредноутами идут и университеты, и знания, и рабочие союзы, и зори революций. Дом, где я живу, стоит на слиянии Ван-пу и Нанкинского канала. Этот канал сплошь заставлен сампанами, маленькими лодками с крышами. На этих лодках живут китайцы, тысячи людей, всю жизнь, семьями привязывая голых детей, как щенят, на ремни, чтобы они не упали в воду. Непонятно, когда китайцы спят. В полночь, когда начинается прилив, сразу все китайцы начинают кричать, — тогда становится страшно в этой непонятности, в этой темной ночи, такой темной, каких в России не бывает. Но у самого моста стоят три больших сампаны: это временное кладбище; богатые китайцы должны быть

похоронены у себя на родине, в родовой могиле, так требует религия почитания предков; умерших в этом городе свозят на эти сампаны, гробы ставятся этажами, пока сампана не полна, — тогда сампаны развозят гробы по каналам небесной республики. И вечерами, когда стихает ветер, в липкой мути этой невероятной жары, которая уничтожает у меня всякую силу, липкий запах мертвецов ползет по мосту, по каналу, окутывает дом. Вечерами по мосту гуляют проститутки, исключительно европеянки, мост ведет к порту, — и английские и американские матросы уезжают с проститутками на ломпацо, единственных кто здесь бегает со скоростью лошади. Матросы, сплошь говорящие по-английски, называют проституток — «чикен» — курами. Против дома на рейде стоит американский дредноут... — Если китайская культура так же отстоянна, как китайские запахи, то это ужасно: весь Китай пронизан запахами гниения, гнилого, плесени, всяческих отбросов, тухлого мяса, бобов, бобовых масел. Гниль вошла даже в кухню, ибо одним из сладостнейших блюд суть куриные яйца, которые гниют в земле по нескольку лет, превращаются в зеленый янтарь гнили, потерявший вкус яиц, пахнущий тленом и съедаемый с наслаждением. Китайцы человеческими отбросами, человечьим пометом удобряют землю. В этом городе, даже в европейских кварталах, нет канализации: на рассвете из-под всех домов, в прутяных кошелках, руками, китайцы стаскивают отбросы на каналы, в сампаны: сампань отвозят навоз на рисовые поля, но на рассвете в городе нечем дышать — —

...Вырезки из местной английской газеты.

«У б о р к а т р у п о в.

Начальник китайской полиции полковник Иен Хун-мин издал приказ, вменяющий в обязанность произвести погребение всех трупов, которые в боль-

шом количестве находятся сейчас на полях вокруг города, прикрытые соломой или тонкими досками.

Ввиду страшной жары трупы гниют, распространяют зловоние и заразу.

Начальник полиции предлагает в трехдневный срок зарыть все трупы в землю. Исполнить это постановление обязаны родственники умерших».

«В Путунге.

Сообщения о развитии холерной эпидемии на китайской территории, в Путунге, носят крайне тревожный характер, где, по сообщениям китайских газет, холера производит настоящие опустошения среди пристанских кули. Путунгский миссионерский госпиталь, куда поступает ежедневно не меньше 100 больных, совершенно переполнен».

«Защита от жары.

Китайские власти наконец обратили внимание на организацию скорой медицинской помощи для лиц, получающих на улице солнечные или тепловые удары.

Кроме того, что во многих пунктах на китайской территории учреждено дежурство медицинских отрядов, все китайские полисмены получили твердые инструкции, как оказать первую помощь лицам, сраженным палительными лучами солнца и жарой.

Муниципальная полиция озаботилась устройством навесов для полисменов, дежурящих на перекрестках улиц».

. . . . . .

Китай — страна драконов, олицетворяющих солнце пагод, храмов, неба, предков, чортообразных богов, пятисот будд, пыток, сорокавековая культура, особливейшая: дракон — символ Китая. В залах, где собраны боги, мне скучно, потому что улицы за музеем мне существеннее богов, улицы, которые сами по себе мне — музейная редкость. В залах, где собраны книги, мне досадно, ибо здесь собраны книги о Китае, написанные

не китайцами, но европейцами: для авторов этих книг, я знаю, Китай — страна за китайской стеной. Можно и не итти дальше, в залы, где собраны звери, птицы и гады этой страны. Но меня ведут и я — открываю: удивительнейшее: — да, я в чужой стране, совсем чужой, — быт драконов у китайцев — не случаен! В России в этаких музейных залах стоят: серый волк, звери в мехах, серые птицы, гадов почти нет, уж да ящерица, заспиртованные в банках. Здесь: — бесконечное количество неизвестных мне гадов, первым делом — бесшерстых, желтых раков, черепах, драконят, ящериц, крокодилов, рыб, водорослей, — зверей в шерсти здесь почти нет, звери по большей части в колючках, в бронях, шерсть с них слезла, все они желтые, — а птицы пестры, как китайские мандаринские халаты, — чужой мир! непонятный! — и столь много объясняющий, ибо — на быте, — искусстве и верованиях отразился звериный и гажий мир. Все эти раки, осьминоги, рыбы и ящеры, которых, к слову, китайцы едят, — очень страшны на мой глаз!..

Меня провели к двери, сказали, чтобы я заглянул через стекло двери в соседнюю комнату. Там за белым столом, в колбах, склянках, спиртах и препаратах, на высокой табуретке против микроскопа сидел горбун, одетый, как китайские бои, в одни холщевые белые штаны, босой, — горб был наружу, ужасный, лиловый в синих складках, — лицо было очень китаелицо, в морщинах старости. Мне сказали, что этот старик — крупнейший, не только китайский, но мировой — ученый, пишущий труды очень большой значимости — и — живущий в музее в качестве сторожа, за хлеб — —

. . . . . .

У каждого народа, у каждой нации — свой наркотик.

Россияне пьют водку, очищенный беспримесный спирт. Англичане пьют виски, ячменную водку, прокопченную,

как коптят окорока. Центрально-азийские народы курят анашу, гашиш. Китайцы курят опий. — Какими словами передать то ощущение, что опий так же не случаен в Китае, в его быту, в его философии, как водка для россиян, в российском быту, да и в российской философии? — Опиокурение — не национальное китайское изобретение: опий в Китай ввезли англичане, — англичане повезли бы опий куда угодно, но он пристал, пришелся ко двору только в Китае, в стране, где буддизм учит китаизированной нирване. Китайские опиокурильни грязны так же, как российские самогонные шинки. Их преследуют: так же, как решето задерживает воду, — ибо опиоторговлей занимаются китайские генералы и иностранцы, вплоть до консулов. Китайские улочки очень пахнут опийным дымом, — там, в фанзах, обязательно во мраке и в отчаяннейшей грязи, на канах рядами лежат люди, курят, грезят и проваливаются в ничто.

И вот, на порогах этих притонов, так же как в храмах и на улицах, — я познаю, что я не знаю, не понимаю и никогда не пойму китайцев и Китая. Я спрашиваю направо и налево всех, чтобы найти какие-либо ключи к Китаю, — и этих ключей у меня нет, все, что я вижу, я вижу для того, чтобы — не знать.

Мне говорит синолог, профессор, тридцать лет проживший в Китае, что ключами к Китаю суть китайские ворота и стены, ибо Китай от всего иного варварского мира отгорожен великою китайскою стеной, — Пекин огорожен внешней стеной, центральная часть Пекина огорожена внутренней стеной, каждый квартал огорожен своею стеной, каждый дом огорожен своею стеной, — перед воротами поставлены два глиняные щита, загораживающие двор — не только от злых духов, но и от человеческого глаза так, что ничего не видно на дворе. Эти же стены глухих ворот торчат и в психике китайцев.—

Опий отгорожен от европейских понятий великою китайской стеной понятий китайских. —

. . . . . .

Маманди — значит по-китайски — погоди, не торопись, не спеши, значит русское — сейчас. Это маманди скрыто в китайских расстояниях, в китайском времени, в китайских делах и в китайской философии.

Ханькоу, июнь.

...Я проснулся сегодня в удивительнейшем чувстве детства, моего детства в Саратове, в доме бабки Катерины Ивановны, в шуме набережной, в гуле дубинушки. Не знаю, кто у кого взял дубинушку, эту портовую дубинушку, — но знаю, что мотив и ритм ее здесь в Ханькоу, как везде в Китае, таков же, как в Саратове, как везде на Волге. Прислушивался, в китайской — «ха-хэ-хо! одно и то же, — как у бабушки! — и шумы одни и те же, и рявки пароходов, и крики толпы. И утром, освободившись от кошмара сна в москитнике, я пошел на набережную — б р о д и т ь п о м о е м у д е т с т в у, ибо картина о д н а и т а ж е, разительно, — такие же разноплеменно одетые бурлаки, такие же надсмотрщики, так же на спинах (непонятно, почему не ломаются хребты) тащат люди мешки и тюки. Детство — хорошая память: мне грустно и хорошо, и совсем не зря колесить тысячи верст, чтобы угодить в детство. — — Удивительно, но точно то, что я вижу, мне говорит о России, о заволжской, бабушкиной.

Весь Китай строится аналогиями. Уже очень далеко позади Мукден с его гробницами и чжандзолиновским дворцом за тысячелетними городскими стенами, мимо которых в 1905 г. бежали русские армии, — Даярен, Желтое китайское море, река Пей-хо, Тянь-дзин в пыли и пальмах, Тянь-дзин-Пекинская железная дорога, в

чжандзолиновских солдатах и в российском осьмнадцатом годе, в проверках документов и ловле дезертиров, в неизвестности, придет или не придет поезд, в штурме вагонов, как в России в 1918-м, мы собирались уже бросить палительное удушье вокзальных перронов после многих часов ожидания поезда, — носильщики понесли уже наши чемоданы, — и тогда к перрону без свистков подошел поезд; мы влезли в окно, — в вагон-ресторан; неизвестно, почему поезд пришел сейчас, а не в иное время, — неизвестно, почему поезд стоял, — неизвестно, почему он двинулся дальше; мне место нашлось на площадке вагона; по вагонам десяток прошел комиссий, проверяли документы, ссаживали, ловили, арестовывали, — европейцы в этой каше были неприкосновенно-пустыми местами; зной был палителен; поезд был забит чжандзолиновскими солдатами, — станции были забиты солдатами, военными повозками и палатками, платформами с пушками, вагонами с гробами и с рисом; вагоны брались штурмами и винтовками; неизвестно, почему поезд стоял или шел; на площадке тогда я сдружился с китайским — чжандзолиновским — солдатом: он караулил мешки. Палил зной, и, как только двигался поезд, он снимал с себя одну военную форменную гимнастерку, вторую, третью и оставался гологрудым, — перед станциями он вновь лез в одну, вторую, третью — в одно, второе, третье свое богатство, кое он или скрал, или выиграл в мажан... — Пекин — военный лагерь — нас встретил неимоверными грязищами и удушьем, стенами, воротами, пагодами. По загаженным улицам, в пылище по колено, в тесноте солдатских отрядов мы проехали в тишину дипломатического квартала, в покойствие английских, американских и японских пушек.

Пекин — военный город российского 18-го года: все дворцы, все храмы забиты солдатами, на площадях пушки,

на перекрестках патрули, — и всюду шелуха арбузных семечек!

Российский 1918-й!.. — не по-российски — бестелесны, беспрепятственны, неприкосновенны — иностранцы, европейцы: мы садимся в поезд, который пройдет через ставку У Пей-фу, у нас купэ, под боком вагон-ресторан, это остатки французского «голубого экспресса», оборудованнейшего в мире. Путь: Пекин — Ханькоу. На прощанье мне говорят:

— В провинции Хенань У Пей-фу собрал с крестьян налоги по тысяча девятьсот тридцать шестой год включительно. Поедете через Хенань, там «красные пики», Фань Ши-мин!

Улыбаются. Вокзал освещен газовыми фонарями. Ночь черна, как негр. Поезд идет в костры военного лагеря, за пекинские стены, — и возвращается обратно: прицепливают вагон китайского генерала, вагон-салон. Мне говорят, что генерал Хуан Сян-ли, из уважения к себе, испражняется в своем вагон-салоне так: он встает орлом перед унитазом, под руки его поддерживают два приближенных, он поплевывает в унитаз, — затем за ним убирают с кафелей пола. — Опять поезд уходит в костры военного лагеря, во мрак ночи. — Нас двое, мы — шикарны, нам — шикарно. По коридору предупредительнейше проходит военный контроль. Впереди у нас — сорок восемь часов пути по расписанию,— неизвестное количество суток — по обиходу: книжек мы взяли на неделю. И наутро мы погружаемся в беспредельное количество рисовых полей — в китайское нищенство, в китайский труд. Какие беспредельные высоты взяли бы китайские крестьяне, если бы они действительно шли в гору, а не шли бы в гору, стоя на одном и том же месте, как они делают, перекачивая воду из каналов на рисовые поля, с одного поля на другое — !? — Целыми днями

китайцы, старики и дети шагают со ступеньки на ступеньку колеса, тяжестью своих тел вращая колесо, тяжестью своих тел перекачивая воду, — и дети, чтобы быть тяжелее, к спинам привязывают мешочки с песком!.. — — труд и земляные века перед нами: ибо — сколько веков надо потратить, чтобы по ватерпасу выверить все эти многотысячеверстные равнины — !? Там за окнами, в нищенстве деревень и полей, в высохших реках, около разбитых войной домишек, — очень много свежих могил и старых курганов... — Станции мимо проходят солдатскими биваками, российским осьмнадцатым, — теплушки, буфера, солдаты, винтовки, пулеметы, — стоянки часами, пыль, шелуха арбузных семечек, грязища, неразбериха... маманди! — нищие, торговцы с лотков, солдаты в бегах за торговцами и лотками, — патрули, крики. — Города сокрыты серыми громадами стен и теснотой пригородов под стенами. Мы в своем международном — в разговорах по принципам ветров: куда мысль подует, туда и слова несут: скитались по нашим жизням. В первый день в голубом китайском закате, после деревень, зарывшихся в лесс, подземных деревень, возникла Хуанхэ — Желтая река, эта уничтожающая каждый год миллионы людей, каждый год меняющая свое русло: она возникла в закате — и поезд попрощался с ней в лунной сини, с ее лессовыми руслами. — Наутро на станции видели связку пик, вроде российских казачьих, — у острия каждой пики были привязаны длинные волосы, выкрашенные в красное: — эти пики отобраны у «красных пик»: мы едем местами крестьянских восстаний, на станциях нет никого, кроме солдат, — но в полях попрежнему крестьяне одолевают высоты водокачек. Здесь творятся жесточайшие вещи: выжигаются села, вырезываются солдатские и повстанческие отряды, насилуются женщины: — и есть отряд женщин — как хотите, раз-

бойниц или партизанок, — женским отрядом командует женщина, они на дорогах грабят купцов и караваны, красивейших мужчин берет себе командир отряда, — этот отряд возник из переразграбленных крестьянских женщин. — Я помню крестьянскую фанзу. Я видел ее под Пекином, около могилы Сун Ят-сена. Рисовое поле было рядом с фанзой, на скате горы. На скате горы стояла — на российский глаз — сараюшка, в которых в российских уездных городах хранят дрова и кур, — величиной в четыре шага ширины и в шесть шагов длины, без окон, с дверью прямо под небо; глиняная печь уходила трубою под каны. Фанза была совершенно пуста, жестяная банка от английских консервов заменяла чашку, на канах валялся халат из кошачьего меха. У порога стояли лопаты и кирки. На земле перед фанзой сидели три женщины: мать и двое детей. Нельзя было решить, сколько лет матери: тридцать два или пятьдесят, она была одета в китайские женские штаны и в блузку, прикрывающую грудь, — талия ее была открыта солнцу и была коричнева, как английский табак, как ее же лицо. На старшей девочке были надеты только одни штанишки, ей было лет десять. Младшей было лет восемь, она была голой и коричневой, как лицо матери. Эти три женщины золотыми нитками расшивали шелковые женские туфельки, те, которые предназначаются для знатных китаянок, портящих колодками ноги. Женщины сидели на вытоптанной земле, в пыли, — шелк и золото разложены были на шелковой тряпке. — Рисовое поле было рядом с фанзой, — отец работал на рисовом поле, по чресла в воде, киркой он рыхлил землю под водой, — он был гол, коса его связана была пучком. И этот мужчина и эти три женщины — никакого не обратили на меня внимания, точно я бестелесен...

Тогда, в пути из Пекина в Ханькоу, — только на два часа опоздал экспресс иностранцев, — мы поехали на русскую — бывшую — концессию, где до сих пор, на паперти русской церкви, — совершенно настоящий — при погонах — стоит российский городовой, содержимый остатками засевших здесь российских чаеторговцев. Ночью меня пытали — зной и москиты. Утром я погружался в бабушкино Заволжье. — Через неделю после нас Пекин-Ханькоуская железная дорога, принадлежащая французам, была перервана «красными пиками»: в иностранных газетах сообщалось, что дорогу размыл разлив Хуан-хэ. — Против Ханькоу, по ту сторону Ян-Цзы-Цзяна, лежит город У-чан, колыбель китайской революции 1911 года: город на горах, в серых каменных стенах, в отчаяннейшей китайской тесноте, где в переулках с трудом разойдутся два человека и где переулки забиты цеховыми мастерскими и лавочками. Над городом на горе сторожит время сигнальная пушка: Ханькоу с горы, с крепостной стены уходит в заводский дым. — Англичанин в пробковом шлеме, в белоснежном костюме, в белых туфлях — сидит в рикше, подгоняет ломпацо белой своей туфлей в спину, — ломпацо расталкивает человеческую толпу охриплым криком: это и в Пекине, и в Ханькоу, и в У-чане — на перекрестках стоят «сикхи» — индусы в малиновых чалмах — английская колониальная полиция, — у сикхов в руках бамбуковые палки — и каждого, каждого китайца, пробегающего мимо, кули или ломпацо, бьют сикхи этими бамбуками по ляжкам: это везде, где есть английские или «международные» концессии. — Нигде нет столько полиции, как в Китае, — и нигде так много не бьют и не дерутся, как в Китае!.. — Над головами, через улицы, на домах, перед домами — висят золоченые, красные, синие иероглифы вывесок, похожие на российские церковные хоругви, города похожи на муравейники, где китайцы — муравьями, всегда тысячи китайцев, — и все пахнет бобовым маслом, национальный китайский запах. В китайских лавках — та же притертая грязь, медлительность и осьмерками по полу остатки чая, как и в российских заволжских у Тютиных и Шерстобитовых...

Концессия — это: англичане, французы, португальцы покупают клок земли, строят дома в стилях своей родины, свои храмы и монастыри, — на клоках земли люди живут по законам той страны, кому принадлежит концессия, — консул — верховная власть — консульский суд — власть судебная, — сикхи хранят порядок и иностранное благополучие, — на калитках парков вывески — «вход китайцам и собакам воспрещен», — за убитого на концессии китайца консул, судя консульским своим судом, присуживает убийцу-европейца к двадцати пяти рублям, — в христианских-католических монастырях на концессиях — янтарная торжественность богослужений, песнопений, общежительных монашеских деяний, тенистый парк, белые яхты на каналах.

Пробковые шлемы, которые носят англичане, устроены так, что при каждом малейшем движении шлемы гудят, как печная труба в метель, ибо в них устроена искусственная тяга, — но от этого пробкового гуда и голова становится пробковой.

. . . . . .

В Китае — очень много мест, где в течение получаса, часа, десяти минут можно угодить в совершеннейшую комфортабельность Европо-Америки, — в течение же трех дней от Ханькоу можно прибыть в европейский быт, обычаи, обиход. — На всех пароходах мира первые классы располагаются по верхним палубам, — у россиянина, если он едет в первом пароходном классе, если он сидит на палубе в хорошем ощущении сытости, бри-

тости, чистоты, — у россиянина в таких случаях появляется непреодолимое желание пойти на нижнюю палубу к нищенствующим и вшивящим, забраться в самую тесноту, дабы уравняться... — Имя пароходу — «Кианг-тин». По-русски на пароходе никто не говорит. Пассажиров в первом классе — четверо: европейцы, национальности их стерты. Пароход отшвартовался в 9.15, и в 9.15 пассажиры первого класса легли спать, — внизу же, на трюмных палубах гудела китайская толпа. Наутро брекфест был подан в семь, пароход стоял на якоре перед развалинами города; имя этого города я не узнал и никогда не узнаю. Побрился, принял ванну, побрекфестил и улегся в шэз-лонг в сытости, бритости и чистоте. Пароход пошел к берегу, пришвартовался, — и вдруг на пароход навалились — фарфоровые, фаянсовые и глиняные — будды, драконы, мандарины, вазы, совокупляющиеся пары людей и тигров, — на верхнюю палубу богов не пустили, они запрудили проходы: я купил себе поларшинного бога, очень веселого, фарфорового, очень хорошего качества, — за два целковых. На пароходе едут две европо-американские воблы, — одна из них поутру прогуливалась по палубе перед ванной — в пижаме и жмурилась на солнце, как кошка. В городе фарфоровых богов и чертей на пароход сел сакс.

Он — мне — вместо приветствия, энергически:

— Хау-ду-ю-ду?

Я ему:

— Тэнк-ю, — я плохо говорю по-английски.

— Джэрмэн?

— Раше.

Он мне:

— Русский? — сода-виски?

Я ему:

— Тэнк-ю. Олл-райт!

Нам подали сода-виски. Он оказался американским инженером. Мы заговорили с ним на пэл-мэле: толкуем об индустрии Америки и о культуре России, о русском искусстве. Фамилия американца — Паркэр, он молод, подвижен, шутит, — должно быть, очень хорошо играет в теннис. К ленчу пароход ушел в ветер. За ленчем мы сели рядом. Мистер Паркэр наклонился ко мне, весело по-английски улыбнулся, сказал, поводя глазом в сторону воблы:

— Лэди очень внимательно рассматривает вас!

Я принял к сведению. Мы вышли из-за стола. Великая китайская река! — она раз в пять шире русской великой — Волги, — глаз все время теряется в просторах воды, ветер дует по-морскому. Все время паруса сампан. Все время вдали горы: однажды эти горы повалились в воду, проплыли рядом порогами, рассыпались каменными глыбами островов, — вода пенилась около камней. Небо — голубое, в облаках. — Воблы вышли жмуриться на солнце. Ветер. Тепло. Шумит за бортом вода. Мыслишкам надо итти, как ветер. Мистер Паркэр прикрыл лицо шлемом, — заснул. — Перед сном он сказал:

— Единственно великая культура — англо-американская. Я не верю в культуру Китая, — понюхайте, как Китай пахнет.

Я тоже заснул, проводив сонными глазами остров величиною в японский домик, пустую скалу с белым маяком. Закрыв глаза, я подумал о «маманди», о трансокеанских путях и о России, о Коломне, о коломенском Николена-Посадьях, — в американской культуре есть хорошее— уменье не спешить... — —

...Южная столица — Нанкин — стены как в Пекине — палительный зной, пальмы, пыль — Су-чжоу или Фучжоу — железная дорога поистине колониальная — неимо-

верный, невозможный, непереносимый, ужасный зной — обессиливающий, деморализующий, уничтожающий, когда у человека развариваются мозги и весь человек тает потом. — —

Здание отеля Маджестик — самое большое и самое роскошное на берегах всего Великого океана, в ресторационном зале Маджестик можно — среди пальм — поставить Василия Блаженного: — совершенно может показать что, проехав город-сад французской концессии, ты угодил в настоящую Европо-Америку, — Нанкин-роад отсветил Пикадилли.

. . . . . .

Китай! — в каждом городе в Китае — своя власть, свои генералы и мандарины, за своими таэлями и тунзерами [1] и за своими винтовками, — впрочем, деньги в Китае — не принадлежат китайцам. В каждом городе свой банк, — и ханькоуские деньги не берут ни в Нанкине, ни в Шанхае, как шанхайские доллары не принимаются в Ханькоу и Нанкине. — Деньги! — кроме того, что у каждой провинции своя валюта иностранных банков, — в Китае в каждой провинции две валюты: для китайцев и иностранцев — иностранцы живут мексиканскими долларами, «биг-большими-мони», — китайцы же проживают на «смол-маленькие-мони»: у китайцев в теориях существуют таэли, теоретические единицы в семьдесят семь российских рублей серебра, — но этих денег нет даже в подвалах банков, и китайцы живут на тунзеры и копперы. Доллар равен ста центам, — цент равен двум с третью тунзерам: ломпацо, тот человек, который везет рикшу, — во-первых, избегает брать центы, — а во-вторых, вырабатывает за сутки пятнадцать-двадцать тунзеров, на кои и существует... Китай! — страна отчаянней-

[1] Китайские деньги.

ших горизонталей и тысяч сельскохозяйственных километров, — страна властей Чжан Дзо-лина, У Пей-фу, Фын Юй-сяна, Фань Ши-мина, Сун Чуан-фана, — кантонцев. — Страна — Пекина — Шанхая — и той фанзы, которая стала на скате холма у могилы Сун Ятсена. — Страна феодализма Коу Ин-дзэ и коммунистических советов профессиональных союзов Кантона и Шанхая.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Жара! жара! — маманди... Неимоверная жара, ужасная жара... —

Нас — трое: Локс, переводчик Крылов и я. Наш дом стоит в комфортабельности международного квартала, за почтительной стеной лакеев-боев, в английском регламенте, в рефрижераторном холоде, в белизне жалюзи. Мы трое — русские, — в этом трехмиллионнолюдном городе: — нам одиноче, чем в пустыне, — потому что в этом одиночестве надо по вечерам надевать монкэ-фрак. Нас — трое: четвертые, пятые, шестые — это мои вымыслы, рожденные в палительном удушьи. У меня и у Крылова впереди дороги.

У меня: — должен прийти русский пароход и понести меня на Сингапур, Индийским океаном в Аден, в Порт-Саид, в Константинополь — в Москву. Я справляюсь, где мой пароход: про него ничего не слышно, — мне говорят, что на-днях идет пароход в Сиам, и меня сбивают пока съездить туда, — хотя и может случиться так, что мой пароход придет, пока я буду в океане. Самое главное, что я чувствую — это страшную усталость: мои мозги перееералащены теми десятками тысяч километров, которые остались позади, — на фотографическую пластинку нельзя снимать сто раз подряд, — мои мозги негодны, как такая фотографическая пластинка, —

мне хочется сесть, молчать, ничего не видеть, никого не слышать, — на кой чорт сдался мне Сиам! —

У Крылова: — уехала жена, — он должен ехать вслед ей, в Россию, в Москву, — он ждет грамоты. — Вот он пришел ко мне, сел в кресло, откинул назад волосы, лицо его потно, — протер очки, — он сказал:

— Я ничего не знаю про жену, как она едет, благодаря ее халатности. Я знаю, что она человек аккуратный, — и я думаю, не случилось ли чего?

У него очень хорошая жена, милый и верный друг, — я говорю, что ничего не может случиться. — Бой приносит нам содовую воду.

Каждый вечер мы надеваем монкэ-фраки и автомобилем едем за город — есть мороженое и часами мчать на автомобиле по пальмовым рощицам, ибо только в этой ночной традиции можно дышать. Через день я выезжаю на банкеты.

«Маманди!..» — Эти два дня я понимаю, что такое тропическая жара, когда тело поистине плавится. Дни проходят, как им велено. В Китае — кажется — померла религия: вчера впервые видел живую кумирню, где нельзя дышать от курений. —... Сингапур, Гонконг, Индийский, Баб-эль-Мандеп, Чермное, Суэц. Голова на плечах — по-есенински — готова осыпаться — никак не смертью— хмелем жатв, мужества и, быть может, усталости.

28 июня.

Льет проливной дождь,— ночью в этом дожде, душном, как банный полок, мигали молнии и громыхали громы: днем громов не слышно за гулом города. Все в дыму и водяной мути. Москиты роями летают по комнатам, — мы жжем противомоскитные свечи, от которых дохнут москиты, но можем сдохнуть и мы.

Мне предлагают плыть в Сиам.

Крылов второй день ждет телеграммы. Пришел, покурил, сказал:

— Глупо посылать телеграммы, когда не знаешь, куда их слать, — когда шлешь их, в сущности, в пространство.

4 июля.

Зной!.. — нет, не точно: зной — это палящее, жгущее. — Баня, — банный полок: мы живем в бане. Город лежит в дельте Ян-Цзы, тропическое палит сверху небо, китайский дракон: воздух так густ теплым паром, что утолением жажды нельзя охладить организма: пот стекает ручьями, не испаряясь, не охлаждая — мы в мокром бульоне своих тел. Бой в рефрижираторе изготавливает ледяные шарики, бросает их в ледяную содовую — и мы пьем десятками бутылок в день. Нельзя принимать холодную ванну, нельзя мыться холодной водой: после холодной ванны — сейчас же тепловой удар, головная боль и рвота, — после холодной воды — нарывы на теле. Чем горячей ванна — тем легче после ванны. Руки и голова опускаются в обессиливающем, деморализующем удушьи. Солнце на небе — блеклое в клубах пара, и ночью температура жары не падает, — но по ночам прилетают москиты. — Всю прошлую неделю я провалялся: есть такая традиция под этим солнцем, что каждый, чтобы приспособиться к зною и сырости, должен перехворать животом. Наши платья спрятаны в цинковых гардеробах, чтобы не плесневели: если забыть кожаные ботинки на три дня, они покрываются зеленой плесенью, — все в плесени, все в сырости, все течет, — так же текут и мозги. В России, чтобы представить эту жару, надо переселиться жить на неделю в баню — на банный полок.

О «Трансокеанике» — нет никаких вестей. В конторе пароходства полагают, что он придет только к августу, —

тогда я в Москве только к ноябрю, — ужасно!.. — Все же через Сибирь возвращаться я никак не хочу.

Крылов послал сразу пять телеграмм — в разные адреса. Говорил мне: — «Жена всегда клялась в преданности, о разлуке говорила, что это скучно, ненужно, одиноко и прочее» — —

5 июля.

Сейчас ходил в контору пароходства. Мне сказали, что «Трансокеаник» прошел мимо, — сейчас он около Сингапура. Следующий пароход — «Октябрь» — придет в сентябре-августе. По-китайски это значит — «маманди»! —

8 июля.

Крылов показал текст тереграммы. « — молчание считаю возмутительным требую объяснения». — Это было утром, а вечером он показал мне письмо.

«Я не понимаю твоего молчания и нашей манеры переписываться, если можно так назвать мою безответную бомбардировку письмами и телеграммами. Я получил от тебя последнюю записку, помеченную 19 июнем. Я подсчитал, когда мои письма и телеграммы дошли до тебя. Я следил по газетам, от какого числа они дошли сюда из Пекина. Я до сих пор не знаю, в Пекине ли ты, или пробираешься в Калган, чтобы через Монголию ехать дальше? — Я не допускаю такой халатной случайности и небрежности. Я вынужден думать, что к молчанию у тебя есть причины. Я знаю тебя прямым и честным человеком, ты здорова, — стало быть, тебе трудно сказать мне что-то, или что-то там еще. — Но вот, что я хочу тебе сказать: всего тебе хорошего, всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична, — всякого тебе счастья. Больше я писать не буду, потому что не нахожу нужным мучиться и ходить в непрошенных татарах».

Я сказал:

В письме есть неточная фраза, — вы написали: «—всего хорошего, если эта наша размолвка катастрофична», — ну, а если никакой размолвки нет, разве тогда отпадает хорошее? —

. . . . . .

...если по глобусу провести пальцем от Порт-Саида на восток к берегам Великого океана, то наткнешься на город, имя которому — для меня: — «Маманди!» — Субтропики. Сеттльмент.

Ночь. Там, на севере, — там в России, — никто не знает, что такое тропическая жара, когда мокнут спички и табак, покрываясь, как мои мозги, плесенью, — когда надо вдобавок ко всему спать в москитнике и зажигать около себя от москитов свечи, от которых нечем дышать. Сейчас сижу, подставив эту свечку под мой стул, дым лезет в пижаму. Наш дом в тишине «международного квартала». В первые дни моего приезда ночами мы ездили за город в загородные рестораны — есть «айс-крим-сода» и «амэри-кэн-гэрл» («американскую девочку») — разновидности мороженых. Сейчас у нас установился режим уездного монастыря, с постелью в одиннадцать. И сегодня, сходив поужинать «скияками» в японском чайном домике — японским шашлыком в японском ресторане, где люди сидят и едят на полу, — в одиннадцать мы разошлись по комнатам, — и я лег, и читал, и свет тушил.

И вот встал, потому что не спится.

У каждого человека должно быть свое хозяйство, — и у меня есть свое: в чайном домике вечером неловко сбросил пепел с сигареты, и мундштук упал в пепельницу с водой (английские сигареты, раз закурившись, никак не потухают), — мало ли кто бросал окурки в эту ресторанную пепельницу и плевал в нее, — а мундштучок этот, старенький, я вывез еще из Москвы, и он мне

дорог хорошею памятью. И вот сейчас, прежде чем сесть писать, я ходил в ванную, мыл мундштучок всячески, сейчас он лежит передо мною в китайской чашке, мокнет в одеколоне, — одеколон стал коричневым... На окне у меня,—не знаю, как появилась несколько дней тому назад, — должно быть, новорожденная, маленькая, красная, без шерсти, — мертвая летучая мышь! — я не сбросил ее и наблюдаю, как ее ест солнце, поистине ест на моих глазах, — через несколько дней останутся одни кости.

...Фу, как испугался!.. писал сейчас наклонившись, и услышал тихий шум, — поднял голову и увидел большую летучую мышь, она летает под потолком, большая, каких не бывает в России, — нехорошо, неприятно быть в одной комнате с этим чужим животным. — Села на гардину. — Опять летает.

...Какая ерунда! — прилетела и спугнула мысли...

Ну, да. Через несколько дней от маленькой летучей мыши останутся только одни кости. Тогда я соберу их. Так ест солнце.

И еще — тоже мое «хозяйство». Прежде, чем сесть писать, был на терраске, а вернувшись, просматривал костюмы, — нет ли зеленой плесени? — Наш дом покоится торжественностью тишины. Наш дом стоит на берегу канала, как раз в углу, где Нанкинский канал сливается с рукавом Ян-Цзы. На канале, на воде — сотнями в ряды стоят шампуньки, маленькие китайские лодочки, в которых живут китайцы. Я стоял на террасе, и с трех больших сампан, тех, что с мертвецами, пахнуло сладким удушьем трупины. — Непонятно, когда китайцы спят. — Сейчас прерывал писание, — тушил свет, прогонял мышь, — выходил на террасу. Прилив, и вся река воет китайскими голосами, и вся река в тысяче — тысячах — ползущих китайских цветных фонариков. На

террасе — нельзя стоять от сладкого удушья трупины. Таинственная, такая, которую я никогда не узнаю, творится на реке жизнь!..

...Знаю, — завтра проснусь в испарине, разбитый жарою, с кислым ртом, — в постель бой принесет содовой со льдом и апельсинов (тут растут, рядом, — что хочешь тут растет!), — полезу в горячую ванну, сяду до часа — до обеда — за бумаги, — а в два, когда все колется и летит до обморока к чорту от жары — пойду — поеду на рикше (ломпацо в эту жару бегают быстрее московских извозчиков, — невероятно!) — в китайское киноателье, где меня будут снимать для китайского «киноглаза», — собственно, не в ателье, а в китайские переулки.

Думаю о России, о доме. Приеду и: закажу визитную карточку — «Б. А. такой-то, бывший писатель», — сам же задвинусь куда-нибудь подальше от Москвы, поступлю в кооператоры, инструктором, пропахну проселками и махоркой: — нно — о кооперации писать не буду, а напишу о человеке, смерти и любви — так, чтобы это было тверже жизни. Думаю о гибели одного китайского рабочего, матерьялы которой попали мне в руки. Китай!.. — рядом с драконами здесь мощнейшие фабрики (был днем сегодня на одном местном лесопильном заводе, где у каждого станка свой двигатель, где все движется электричеством, подаваемым из-за сотни верст, — образцовейший завод!). Рядом с феодализмом, мандаринатом и маршалами — синдикалистические движения рабочих, профсоюзы, стачки, демонстрации, революция, коммунизм. Рядом с китайцами, живущими на шампуньках, отель Маджестик, такой, равный которому есть только в Нью-Йорке. В порт приходят каждый день — каждые сутки — до ста пароходов океанского тоннажа, — это крупнейший порт на берегах Великого океана. Кругом

города сотни заводов. Город утопает в мокром удушьи дыма и трупины. — Непонятно, когда китайцы спят. — Кабаки тянутся от Маджестика, в ресторанном зале которого тропические заросли и прохлада фонтанов, где сутки стоят сотни долларов, — до китайских опиокурилен, где женщина и трубка опия стоят одинаково — тридцать тунзеров, семь с половиною копеек: этот ночной город загажен «белыми», белокожими, матросами, пришедшими с моря, местными колонизаторами и пиратами, живущими на концессиях, — в этом, ночном, городе множество «белых» проституток — и эти: суть жены и дочери российских эмигрантов. На сеттльменте, где живут белые, где делаются деньги, только эти деньги и есть, все продается и покупается, — все: и первым делом — женщины... — Ах, как деранет по всему этому кантонская революция, — несмотря на то, что на каждом углу здесь стоят по три полисмена-индуса, — ах, как холодновато-весело смотреть на китайцев, которые неминуемо должны задвигаться — не маршалами, а революциями!.. — и — вот, об одном рабочем, вылезшем на улицы с шампунек и расстрелянном здесь (или задушенном, — неизвестно), — и думаю я. Имя этому китайскому рабочему, библиотекарю, студенту — Лю-хфа.

...Но, в сущности, все это — не обо мне. Я себя чувствую очень нехорошо. Я очень устал. Мне бы теперь домой, в Россию, на печку, в мысли, в книги, в тишину — и подальше, подальше от этой нестерпимой жары, ужасной, мучительной (сижу сейчас, в три ночи, голым, снял пижаму, выпил содовой, сосу лед, — и пот ручейками стекает с меня), — от этих москитов, — и от того колоссального, жестокого одиночества, которое есть сейчас у меня в сердце. Сижу, как идиот, у моря, поджидая... парохода!.. Я обсчитался, — мой пароход прошел мимо:—когда я узнал об этом, я побежал к себе, чтобы

складывать чемоданы и сейчас же ехать домой через Сибирь, — но выяснилось, что и во Владивосток я могу добраться только через месяц, — а та дорога, которой я приехал сюда, сейчас прервана нето Чжаном, нето Фаном, нето У — в Дайрен билеты распроданы до конца сентября. Тише едешь — дальше будешь, — совершенно верно!..

...Чорт его знает, ночь, что ли, путает!.. Да, так вот! надо провести пальцем от Порт-Саида на восток к Великому океану, этак примерно на треть земного шара,— там есть город, в котором сейчас ночь. За окном горят в сизой туманности и мгле огни небоскребов и бумажные фонарики канала. И непонятно, откуда эта банная сизость ночи, — от жары, или от того, что будет скоро рассвет. Летучая мышь — самое главное этой ночи. Жаль, наши бабушки перемерли, — они знали, к чему по ночам летучие мыши?

. . . . . .

...и опять ночь, не спится.

Вчера была гроза, невероятная гроза, громы гремели пушками, — нигде, никогда такой не слыхал, — и улицы залило так, что ломпацо ходили по колена в воде. Меня не было дома, — был у китайцев, — пришел домой и увидел, что грозою смыло с окна мою мертвую летучую мышь: поэтому купил утром сверчка, — у китайцев продаются, в клетках, как птицы, — сверчки; китайцы разбираются в качествах их пения; я купил сверчка, — должно быть, дикого, потому что он не поет при свете и при мне; я наложил ему банана и поставил под диван, — и сейчас прислушиваюсь к нему: когда щелкает машинка, он перестает петь, — когда я затихаю, он начинает стрекотать.

Как меняются масштабы и аршины, — и — как все относительно!.. Всему миру Китай кажется фантасти-

кой, — мне он кажется таким, когда я вспоминаю, что я русский, что я должен «смотреть»,— — а так, по-житейски, я ко всему привык, все мне надоело. Это к тому, что сегодня был хороший день, хороший, как хорошим мог бы быть какой-нибудь московский, на Воробьевы горы, пикник. С соотечественниками сегодня утром мы взяли мотор-бот и поплыли на взморье, посмотреть на Великий. Туда плыли два часа, оттуда три, там обедали. Все время мы обгоняли джонки и сампаны, нас обогнал «Эмспресс-оф-Канада», один из тех шестидесятитысячетонных пароходов, на которых американцы делают прогулку вокруг света сроком в шесть месяцев, громада, на которой людей живет больше, чем в Коломне. Я валялся на дэке (и сейчас у меня от солнечного ожога болят руки и лицо) — под солнцем, на ветру, думал по ветру. Странная вещь: мысли, как булыжины, — каждой самого себя могут придавить, — бриз же был пустяковый — и все же командовал над мыслями. И потом обедали на взморье: кругом Китай с голыми детишками, в невероятной нищете, — и в нищете, под пальмами — английская ресторация, в английской чопорности, медлительности, сода-виски, кариэн-рис, в женщинах, как воблы, в мужчинах, понявших все на сто лет вперед. Океан накатывает волны, гудит прибоем, синий-синий, — в океан проваливаются пароходы. Приехали усталые, пропахнувшие морем, ужинали, мылись, я занимался со сверчком, — лег спать, тушил свет, — и вот — пишу...

Ничего не знаем мы в России о Китае! — и странно смотреть, в эти дни, когда мы живем, как миры национальных культур выплескиваются за свои заборы, как по Земному Шару идет, уравнивая, геометрическая форма — и формула — шара. — Вчера с двух дня до полночи я был у китайцев, на кинофабрике, причем на

этой же кинофабрике поместилась и редакция толстого одного китайского журнала, левофронтового, «Южная страна». Это было в китайском городе, в китайском доме, в саду и в комнатах. Из всех стран, мною виденных, Китай больше всего похож — на Россию, на заволжскую, моей русской бабушки Россию, — даже кушаниями, несмотря на то, что здесь едят и лягушек (англичане, из «человеколюбия», судят китайцев в своем суде, если улавливают китайцев за ловлей лягушек на их, английской, «территории»), — и щенят, и ласточкины гнезда, и водоросли, и тухлые яйца. Не случайно и Китай, и Россия были под монгольским игом. У меня для Китая два аршина — Россия и Япония (в скобках: изо всех иностранных культур японская культура оказывает самое большое влияние на китайскую — современную, — лучше всего знают в Китае литературу — японскую,— китайская интеллигенция ездит учиться — в японские университеты, — самый распространенный иностранный язык — японский, — самые распространенные иностранные журналы — японские... скобки закрыты). После Японии, я все время натыкаюсь на Россию. Там, на кинофабрике, был организован — не знаю, как назвать, — пикник, что ли, — потому что люди располагались и в доме, и в саду, приходили, приезжали на рикшах и на автомобилях, знакомились, здоровались, пили, ели, уезжали. Европеец там был только один — я. Киносъемили меня во всяческих видах. Говорили мы: на русском (ни одного человека, кроме моего переводчика, китайского писателя Дзяна, да меня самого, не было говорящих по-русски), — по-английски (очень многие, почти все), — по-японски (почти все), — по-немецки (человек десять), — по-французски (человек десять). Были: профессора, художники, писатели, актеры, музыканты. Народу было — ну, человек шестьдесят, не меньше: во

всяком случае, ужинали в трех комнатах (по-китайски, палочками). В Японии — женщина до сих пор раба и ползает на четвереньках, даже жена профессора-западоведа: — здесь — очень похожа на дореволюционную Россию, — даже в углу сидел табунок курсисток, сначала глазевший на «знаменитостей» и благоговейно собиравший визитные карточки, — а потом, после ужина в отдельном уголку, утащивший бутылку с вином, распивший ее потихоньку и распевавший свои песни муравьиными голосами, — ну, точь-в-точь, как моя сестра с подружками на первом курсе. Сначала все лица китайцев мне казались на одно лицо, — теперь я в них разбираюсь так же, как и в европейских, — и очень хорошо понимаю в китайской женской красоте: так вот, наблюдал, как одна курсистка «сознавала» свою красоту, милая девушка и — поистине красавица!.. Жены писателей, актрисы, поэтессы (их было две) держатся — ни дать, ни взять — как наши актрисы и жены, — как, например, у меня на именинах, если бы именины были устроены на травке в саду. Да так, в сущности, и было, — только все были в своих национальных костюмах: — подавляющее большинство женщин в штанах, а мужчин в юбках. — Снимались. — Гуляли по саду. — Снимались. Откуда-то появилось винишко. Я на помеси англо-французско-немецкого говорил о культурах Востока и Запада, о Кантоне (который здесь собравшимися считался единственной здоровой китайской государственностью), — о маршалах, — о братстве русско-китайских культур, — о том обществе, которое я затеваю здесь, — о Китае-русском обществе культурной связи, — о «Китрусе», как называю я это общество про себя. Актеры пели, музицировали, декламировали, — если так можно выразиться о китайских способах петь и музицировать. Другие — спорили. Третьи — главным образом кино-

актрисы — фокстротили и чарльстротили. Выпивали. Потом была гроза. Это было вечером, я стоял на террасе — и, ей-богу, поплакать хотелось от красоты рваного в молниях неба и в реве громов... Ну, так вот, выпивали все, и мужчины, и женщины, — одного писателя вытащили на шэз-лонге под ливень, чтоб прочухался, — а ко мне на террасу пришла актриса (в Америке училась кинемадейству), — уравновесилась около меня, взяла мою руку, — сказала: — «май бонэ!» — и: стала целовать мою руку, укусила до синяка. Я сквозь землю согласен был провалиться, — глазами соседей сзывая, — моего переводчика спрашивая: — «что мне делать, Дзян!?» — Дзян посовещался, сказал, что муж ее полагает, что ничего, пусть целует, — потом отнесем ее под дождь. Тут она меня в щеку хотела поцеловать,— я убежал, — она рассердилась, сердито говорит, по-китайски, — я ничего не понимаю, я к переводчику,— Дзян сказал, что совсем не сердито, что таким голосом говорят комплименты (вообще, по интонации голоса европейцу ни за что не понять — ни китайца, ни японца: кажется, говорит грубости, оказывается — комплимент, — говорит, сладко улыбаясь, — оказывается неприятность!), — Дзян сказал, что актриса намерена приехать ко мне с визитом, — а пока дарит свою фотографию. Действительно, она подарила мне семейный портрет: ее с мужем. — Китайцы вообще — не целуются, это вне их традиций: — актриса сделала это по «европейской вежливости», спутав, должно быть, обстоятельства — кто кому должен целовать руки; поэтому и муж ее не сердитствовал: — «Европа, мол, так Европа, — надо подчиняться этикету!» — Потом мы пили водку. Китайцы пьянеют так же, как и русские: обнимались и великим смешением языков говорили бестолковые приятности. До автомобиля меня вели — в последождном мраке

й лужах — точно в «кучу-малу» играли — человек двадцать, держась друг за друга, чтобы коллективно стоять.

...ничего не понятно россиянину из того, что я только что написал, потому что россиянин не представляет китайских лиц, китайских домов, китайской вежливости, — того, что китайцы ходят с веерами (и я тоже), — потому что ступни ног, эмоции лица, костюмы у них совершенно не похожи на наши, — потому что музыка их невероятна на наше ухо, а поют они — отвернувшись лицом от слушателей, лицом к стене, — а декламируют (женщин ведь в китайском театре играют мужчины!) с твердокаменными лицами — под маски — такими тонкими голосами, которые — неизвестно, где у них родятся.

Да, я уехал от них. Приехал домой, в тишину сеттльмента. Поболтал с Локсом. — Приехал я домой в час (и мрак) прилива, когда особенно кричат на канале китайцы. Стоял на террасе, слушал, одиночил, думал. Вдали полыхали молнии. — Потом ходил осматривать мое хозяйство: увидел, что исчезла мертвая летучая мышь: еще меньше стало мое хозяйство... И опять бессонничаю.

. . . . . .

...Приходил доктор, и я прерывал писание.— Доктор сам правит автомобилем и, проезжая мимо, заезжает выпить содовой, обменяться случайными новостями. По специальности доктор — сексуало-патолог, сексуало-психолог, — не знаю, как назвать, — сексуальная психопатология — его специальность. Доктор рассказал бывший у него сегодня в практике случай, — и разговор пошел о половой жизни людей. Разговаривали — мы трое и он, — о том, что множайшие тысячи людей несчастны именно благодаря безобразию половой жизни, даже в браке, — благодаря брачному онанизму, возникающему и в несоответствии половых темпераментов,

и потому, что теперешняя структура брака заменила понятие полового акта, как акта рождения, понятием акта — наслаждения, избегая детей, прибегая ко всяческим противоестественным приемам, дезорганизующим все — и психику, и здоровье, и радость... Крылов молчал, не дослушал доктора, ушел к себе, — и вернулся только тогда, когда доктор уехал. Мы с Крыловым вышли на террасу. Он сказал мне: — Доктор говорит мерзости. Я сейчас сидел у себя, один, и мне представилось, что у меня с Катериной — ребенок. Я не знаю, кто он, мальчик или девочка, — но всего меня пронизало счастье, огромное, прекрасное счастье отцовства, разделенного с любимой женщиной.

— Как раз об этом говорил и доктор,— сказал я.

...Бой пришел приготовить на ночь постель, поднял с полу бумажку, развернул, посмотрел, бросил за ненадобностью. У боя замечательное, всегда безразлично-любезное, лицо, на которое я каждый раз внимательно заглядываюсь, — и каждый раз, когда его нет перед глазами, забываю так, что мучусь, не вспоминая, иду смотреть, вижу его безликие непроницаемые глаза, его непонятную улыбку, его скулы и зубы — и мне делается непокойно, я расспрашиваю его о его детях и прошу его дать содовой; — ухожу, — и опять мучусь непонятностью его лица.

. . . . . .

Никогда, никогда не забуду я ночных наших поездок за город на автомобиле, когда автомобиль рвет пространства прекрасных шоссе между незнакомых деревьев, между пальм, в этих тропических ночах, когда если бы не фонарь, не видно было бы в двух шагах. И странная тогда поднимается луна,— должно быть, прекрасная, если бы не было мути удушья и сырости, она кажется ненужным куском синей тряпки во мраке беззвездного, защемленного

неба... Иногда автомобиль влетает в стаи летучих светлячков, они разбиваются о стеклянный щит автомобиля, сползают вниз и, мертвые уже, все еще светятся фосфорическим своим мертвым светом... Так машина и мои мозги гонят ночные километры.

. . . . . .

...нет, даже во сне я не знал, что такое жара! Сейчас восемь утра,— а я уже повесил сушиться два платка, которыми утирал пот, чтобы не закапать бумагу,— рубашку на мне можно выжимать. Солнца не видно, оно в той бульонной мути, которая облепливает город и меня вместе с ним. Ужасно,— ужасно чувствовать себя все время в бульоне своего собственного пота. Нам, европейцам, делать ничего нельзя,— и мы ничего не делаем, изнывая от жары, сидя под фэнами — ветродуями, похожими на аэропланные пропеллеры, — во всяческом, окончательном маразме. С канала тянет трупиной. Мысли липнут от пота, невозможно думать.

11 июля.

Крылов показал мне письмо.

«Катеринушка, родная!

Позволь мне на бумаге разобраться в моих чувствах, для того чтобы отогнать от себя кошмар этих дней. Ты знаешь объективные условия моего пребывания: невязку с откомандированием, усталость, одиночество, неопределенность, зной, — все это пустяки по сравнению с тем,что я передумал о тебе, как я тебя перелюбил и перестрадал.

Да, у меня были и есть — очень большая любовь, очень большая боль и — очень большая злоба.

Со злобы я и начну, потому что, как ты хочешь, а твое поведение я считаю возмутительным, абсолютно свинским всячески. В чем дело? — я шлю телеграммы от

24 и 27 июня, от 2, 4 и 6 июля,— ясно, что нервничаю, ясно, что сижу в неизвестности,—молчание. Письма я слал исключительно заказными, не дойти не могли,— я высчитал, когда они пришли. Ты получила письма — от 17, 20, 22, 24, 28 июня. Ты не удосужилась написать целых две недели с половиной — от 19 июня до 5 июля. Чорт знает что такое! — ибо, если ты скучала, стало быть, времени много,— а если веселилась, туриствуя, могла бы уделить время. Тем паче, что в Пекине ты раньше меня узнала, что моя откомандировка задерживается,— стало быть, не увидимся долго,— могла бы запросить телеграммой!.. Этак пишет послание через пятнадцать дней, через полмесяца, и не находит нужным спохватиться, объяснить молчание, а — потом, через два дня и через третьи лица, находит нужным справиться о моих проектах. Пишет этакую лирическую белиберду о кружевах, до которых мне меньше, чем до китайского снега, которого не бывает,— а потом приписывает: — «ну, родной мой, все тебе изложила, что позволила моя мигрень,— если что забыла, то по этой же причине, т. е. мигрень»,— а в телеграмме — «больно тона твоей телеграммы»...— А где ты была от тонов моих прежних писем, канувших, как горох в стену?! — чорт знает что такое!.. Крокодильи слова пишет под классиков,— зачем, мол, расстались? — и умолкает на полмесяца. Письмо налила водой на шесть страниц и не удосужилась строчкой обмолвиться — получила ли мои письма, нет ли? — Ведь я додумался следить за тобой по газетам, по числам их отправлений,— но из газет, к сожалению, многого не узнаешь!..

Что все это значит? — я не сплю ночей, хожу сам не свой, мучаюсь, унижаюсь, прося третьих лиц сообщать мне о тебе, роюсь в догадках, ничего не понимаю, выдумываю тысячи выдумок. Решаю: случилось что-то, что не дает тебе возможность говорить со мною, заставило

тебя запереться от меня,— случилось что-то катастрофическое, что ты находишь нужным замолчать,— доколе!? — и я пишу тебе письмо, где прощаюсь с тобой, всю мою силу собрав, чтобы оправдать тебя, чтобы решить, что — раз так случилось — стало быть, так и надо, потому что ты честный, чистый и хороший человек, и никто не волен на волю другого. Я тогда мучился своею злобой,— и писал в том письме, что благословляю тебя, всего хорошего желаю тебе, счастья,— а сам всю ночь просидел на террасе: это, ведь, как хоронить любимого умершего,— еще хуже,— потому что я впервые понял, что такое ревность — мерзкая вещь, звериная. Просидел ночь, всю волю собирая, чтобы изгнать злобу против тебя,— чтобы себе оставить всю боль, а тебе отдать всю радость. Очень трудно и больно. Но этим я и жил эти дни.

Ну, а теперь — пункт третий. Ты письмо это внимательно прочла? — правда? — тогда можно и не говорить, как я люблю тебя... Ах, люблю, люблю,— и не знал, что так люблю, и не знал, что так ты вросла в мое сердце, и не знал, что вырвать тебя из сердца — сил нет никаких, родная, милая, единственная, прекрасная. Сердце сейчас у меня спокойно, я хоть столетья буду ждать тебя, мечтать тобою,— мой путь к тебе будет путем аргонавтов за золотым руном твоих рук, твоих глаз, родная, родная: любить, мечтая, оказывается, совсем не хуже, чем любить, лаская».

. . . . . .

Крылов показывал еще письмо к жене,— вторую редакцию только что выписанного. Крылов бледен, измучен. Я прочитал письмо и ничего не сказал,— он ушел к себе, лег на диван лицом к спинке.

Сегодня 14 июля, день взятия Бастилии, национальный французский праздник. Сейчас Локс вернулся от французского консула, в французской концессии. В России, должно быть, я и не вспомнил бы об этом дне, — но здесь в Китае этот день празднует весь город. Поэтому и аз грешный протаскался вчера по французской концессии почти всю ночь. Сначала ходили во французский парк, где все было иллюминовано и в небо гоняли ракеты со всей китайской роскошью — со всей европейской гнилью ломились столы под навесами в яствах для французских матросов и русских проституток. Говорить о ракетах, рвущихся в небо и палящих пушками,— так же, как о безвкусице иллюминации консульства, где ампирный дом был рассвечен смесью китае-египетских завитушек и цветов,— так же, как о стойлах на воздухе, где сотни матросов пили пиво и танцовали с проститутками фокстрот, — а китайцы — тысячами — глазели, — об этом говорить не стоит, это было скучно. Но на Авеню-Джордж ходили китайские процессии с драконами, рыбами, светящимися изнутри, с фонарями на палках, с китайской музыкой,— это была поистине настоящая красота, фантастическая, страшная и — прекрасная. Я за ними и таскался, за ними и ушел в китайскую часть города, совершенно фантастическую. Процессий таких было много, все перепуталось. Драконы, освещенные изнутри, с горящими глазами, — метались над толпою, плыли огромные рыбы, их обгоняли собаки, львы, фонари, люди в невероятных маскарадных костюмах. Все трещало шутихами, ракетами, литаврами, песнопениями, криками.

Ночь была путаная. С французской концессии, от драконов и шумов, мы поехали в загородный ресторан, сначала в один, потом в другой, сначала в «Дэльмонтэ», затем в «Дримланд»,— пили белое вино со льдом и смотрели, как в этой жаре люди танцуют фокстрот — в этой жаре и в белых, летних монкэ-фраках... Затем мы с Локсом вернулись домой.

— ...перебиваю себя, чтобы рассказать о матросской любви, в честь товарища Крылова. Мы были с Крыловым в матросском трактире.— Матросы пришли с моря, не сходили с парохода шесть месяцев подряд; это были американские военные матросы. Женщины, которые были в этом «дансинге», были русские и китаянки, одна японка, одна индуска, две малаянки,— и женщины не могли уйти из заведения до закрытия, до четырех часов утра. Мужчины в кассе за центы покупали билетики на право танцовать с женщинами. Матросы танцовали с ними и имели право приглашать их к своим столикам. Мне было занятно смотреть, как в этих огромных мужчинах, военных американцах, смешались — и та неизбежная обоготворяемость женщины, которая нужна каждому мужчине перед половым актом, ужасная притонная влюбленность, жалкая, омерзительная, которая то-и-дело вспыхивает — или ревностью, когда женщину, по праву билетика, берет на танец другой мужчина, или страшной похотью, когда вдруг за танцами кажется, что вот тот матрос вот-вот сейчас сломает женщину, будет рвать ее платье и тут же будет насиловать... Но время идет медленно, сидеть за пустым столиком неудобно,— и матросы напиваются, не хотя пить,— засыпают за столиками, ожидая четырех часов. В притоне — очень шумно и — очень скучно. Женщины в скуке и безразличии по привычке обирают мужчин,— эти женщины, которых, пусть на одну ночь, так обоготворенно, так страстно любят в эту минуту полувменяемые, нелепые, как дети, огромные, страшные люди.

Мы вышли из притона, Крылов сказал в отчаянии:

— Какое безобразие, какая мерзость,— ужасно!..

После китайских драконов и после кабаков «Дримланда» мы приехали домой. Была черная ночь. Мы разговаривали с Локсом. Я вышел на террасу и увидел: во

мраке канала, на одной из лодок на канале, на одной из тысячи лодок, горел костер, около костра стояли люди и тени людей — и там трещали шутихи, очень громко, очень много; было темно и было видно, как прыгают искры шутих: — на этой лодке умирал кто-то или тяжело родился новый человек,— и близкие шумели шутихами, чтобы отогнать страхом шума злых духов... Как передать ту щемящую тоску, которая была у меня от этих шутих на сампанах, услышанных мною после французской концессии? — эту черную ночь, костер на сампане, силуэты людей и горькую мысль о том, что вот эти люди шутихами отгоняют злых духов — от умирающего или рождающегося,— о том, как много вообще еще темной ночи на этом свете!..

Я вернулся в комнаты, — мы с Локсом сели испить содовой и — заговорились на долгие часы — обо всем, о чем можно говорить в десятке тысяч километров от родины, в чужой стране, глубоко за полночь — двоим соотечественникам. Могло показаться, что за домом не тропическая ночь, а полярная зима. Хозяйство мое — сверчок — поет теперь при мне. Завтра куплю себе черепаху, привяжу ее веревочкой за ногу и поселю в ведре: — пусть живет, приносит счастье!..

...Прерываю писание. Пришел парикмахер, стриг, брил, — настал обед. Странные дела со мною творятся: вот уже много дней сплю по три-четыре часа в сутки, и спать хочу, и заснуть не могу.

...Продолжаю. — Жара такая, что белые брюки кажутся самоедскими малицами, томят вноем. — Вообще же время мое проходит так. Я просыпаюсь в 8—9 утра, бой приносит в постель содовой и апельсинов, — я иду в ванну, моюсь, бреюсь. Бой готовит брекфест. Едим с Локсом. В это время выходит Крылов, разбитый ночью, но просмотревший уже газеты, — он сообщает поверен-

ному в делах о том, что есть в газетах, о всех политических событиях, о гражданской войне, о передвижениях армий, о маршалах, мандаринах, университетах, рабочих. Слушаем так минут сорок. Затем переходим в кабинет и углубляемся в европейские газеты — русские, английские, французские. Так до обеда. После обеда расходимся по своим комнатам. Я второй раз лезу в ванну и лежу голый до чая, — или до того часа, как встанет Локс, — тогда он приходит ко мне (вот и сейчас, — я щелкаю на машинке, он сидит в кресле и читает), — мы молчим в жаре, меняясь немногими словами. Я знаю, что у нас с ним очень хорошая дружба, — многие ночи напролет мы философствуем с ним, — обоим нам надо мужествовать. — В пять чай. После пяти я иду к вице-консулу, — он только что научился править машиной, в ездовом азарте, — и мы едем с ним за город, — мне приятно сидеть под ветром, стремиться и думать. — Так до восьми. — В 8 —ужин, — и там всегда какое-нибудь событие, полночные поездки за город к светлячкам и в пальмы — почти обязательны... А там — ночь, книга и бессонница. Ночами всегда заходит Крылов, толкуем о Китае, — но самое главное для него не это: сейчас он пришел и сказал:

— Опять получил от жены письмо. Помните, я говорил вам о перерыве в ее переписке. У меня огромная трещина. Я заклеиваю боль всячески, — что же поделаешь, если она есть и если она смешана злобой. И боль и любовь перемешались так, что я не знаю, где конец и начало одного и другого.

— Это от жары, — сказал я.

Были сегодня в китайском кинематографе: ничего особенного, китайские костюмы, но принципы игры — американские, — ничего «китайского» там нет. Как в американских и английских кино, можно курить, и в

темноте разносят прохладительные напитки. Ночью вдвоем с Локсом ездили на автомобиле за город, никуда не заезжали, отдыхали от жары.

. . . . . .

О моем пароходе ничего не известно.

. . . . . .

17 июля.

Сегодняшняя запись посвящается Крылову и его жене. Мы были в притоне, в загородном луна-парке, где я впервые увидел фарс «А что у вас имеется?» — где танцуют русские офицерши, превратившиеся в шантанных девок, и где хлобыщат моноклями англичане. За нашим столиком сидела дочь адмирала Штарка, местная танцовщица и проститутка. Нас было четверо. Совершенно ясно, что все здесь обнажено до окончательной голости, и все за деньги и на деньги. Мне повезло, потому что те двое, кроме нас, которые повезли нас по притонам, — поехали не посмотреть, как мы, но поехали понаслаждаться.

Крылов сказал мне:

— Мне больно ходить в такие места. Мне все время лезет в голову, что такое же смогло б случиться и с моей женой и с моей сестрой, — ужасно!.. вот та проститутка, — он махнул рукой, — окончила московские высшие женские курсы. Чем она виновата, что она пошла за мужем-офицером или за отцом-генералом?.. Смотрите, — вон тот музыкант-скрипач — муж вот этой проститутки. Здесь люди опустились так, что мужья не покидают жен, вот этих проституток, и живут на их средства... У этого музыканта и у этой проститутки — двое детей. В четыре часа ночи муж поедет домой, а жена поедет в номер с тем мужчиной, который ее купил, — или, если так захочет покупатель, они поедут к ней же на

квартиру. Тогда муж-музыкант, бывший офицер, поспешно переоденется лакеем и будет прислуживать им — у себя в доме!.. Ужасно!..

Так, в этаком веселии мы объехали три притона — европейских. Наши спутники издевались над Крыловым весь вечер, что, мол, он тряпка, боится пить, боится заразиться, не то, мол, что они, и все это с присказкой: «—а-а, уходишь, предаешь, нами брезгаешь, ну-ну!» — И мы поехали в китайский публичный дом, где проституткам от девяти до четырнадцати лет. В китайском публичном доме — совершеннейшая чистота, — но двери, для прохлады, открыты, и видно, что делается в каждом стойльце. Нам принесли китайскую — горячую — водку и стали приходить на выбор дети — девочки. Один из наших спутников взял девятилетнюю девочку и ушел с ней в соседнее стойло. Другой выбрал девочку лет тринадцати, но не успел никуда пойти, — заснул, обняв девочку, — она сидела покойно.

Тогда с Крыловым произошла истерика. У него стали дрожать руки, застучали зубы. Я повел его на улицу, — он бежал по лестницам бегом, глаза в землю. Мы взяли рикш, — он смотрел на спину ломпацо умоляюще, чтобы тот скорее бежал.

— У меня совершенно разъехались нервы, — сказал он. — Не понимаю, что страшнее — то ли, что вот эти люди, не любящие, быть может, не имеющие даже настоящей похоти, за деньги будут совокупляться с девятилетней девочкой, — то ли с моей женой, ибо по возрасту я могу иметь такую дочь, ибо моя жена — из той же среды, из которой и Штаркша!..

Мы приехали домой, Локс еще не спал, — Крылов поспешно полез в ванну.

...Пять часов утра. Да-да, — а женщины в притонах, когда их не подзывают мужчины, сидят табуном, зевают и толкуют, кто у кого шьет платье: я подслушал.

18 июля.

Утро. Сегодня началась почтовая забастовка, — ни газет, ни писем, — хорошо!.. Солнца нет, над землей и на земле — бульон, состоящий из удушья и пота. Газет — нету: сяду за книги, в пот и мысли. — Завтра уходит пароход во Владивосток: надо очень большую волю, чтобы не поехать на нем.

19 июля.

Вчера ничего не записывал, потому что был ужасный день, таких еще не было. Весь день я провалялся на постели, совершенно деморализованным, голым, в поту, в изнеможении — от страшной, невероятной, невозможной жары, такой жары, в которую нельзя двигаться, думать, есть. В висках стучит густеющая кровь, тело истекает потом, и все же нет спасения, каждое движение грозит тепловым ударом. По газетам, вчера было несколько десятков таких тепловых ударов. Земля вся в пару, солнца нет, всюду муть и туман, — и в этой воздушной жиже кишат москиты. — Ночью, часов в 11, пошел дождь, и мы с Локсом поехали за город отдыхать от жары. Мы заехали куда-то в лесок, и на нас налетела стая летающих светлячков: это необыкновенно красиво, эти жучки, светящиеся фантастикой Жуковского, его романтикой, эти жучки, вылетевшие из тропического леса. Я писал, что никогда не забуду этих автомобильных бегов: да, никогда! — но — ко всему привыкаешь и как все забывается: мне уже безразлично, что из тропической ночи и мрака, из стремленья шоссе — машина вынесет нас в китайские деревушки, в китайские переулочки, в эту экзотику голых людей под фонарями автомобиля, в нищету отдыха на пыли улиц, под небом, в свете своих бумажных

фонарей, в эти странные позы усталых тел, развалившихся на цыновках.

Вернулись домой. Потому что идет почтовая забастовка, Крылов ходил на почту — сам разбирал письма и — ему посчастливилось: нашел письмо от жены. Крылов пришел ко мне расстроенный, сказал:

— Поймите, до чего довела меня жена. Она пишет — «люблю, целую», — а мне противно от этих слов. Она не объясняет своего перерыва от 19 до 5. Вот, пришло письмо, и опять видно, что она не понимает той пощечины, которую она нанесла мне, которую склеить мне — очень нелегко, перенести которую — у меня уже не хватает сил. А она ничего не объясняет!.. Она совершенно не представляет, как я жду ее писем.

Я обнял Крылова и повел его пить содовую.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром обалделый Крылов переводил нам китайские газеты. Сначала повеселело мое лицо, затем Локса. Локс фыркнул. Крылов спросил:

— В чем дело!? —

Мы расхохотались: — молодец, товарищ Китай! —

Перевод из китайской газеты «Ши-ши-син-вэн».

«Из высоко-авторитетных источников получено сообщение, что маршал У Пей-фу издал телеграфный приказ дубаню Хенаньской провинции маршалу Коу Ин-цзе срочно выступить против начальника партизанских отрядов Фань Ши-мина, оперирующего в провинции Хенань. Маршал У предлагает маршалу Коу не поступать так, как он поступал раньше, занимая добровольно очищенный партизанами город (как это было при занятии Венцзы) и сообщая реляции о кровопролитной битве. Фань Ши-мин, как известно, один из крупнейших партизанов Хенани, командующий 8 бригадами. Маршал У предлагает ликвидировать Фанья в месячный срок. Одновременно маршал У предложил выступить в поход бригадным командирам — Ма, Ли и Юань-ю, телеграфно запросив помощи от Янь Юе-жен и Джан Джи-гуна, — иными словами, под командой Коу должна была образоваться семидесятитысячная армия.

Маршал Коу Ин-цза ответил маршалу У, что он не может сейчас выступить по — «домашним обстоятельствам»...»

Домашние же обстоятельства заключаются в следующем. К маршалу Коу приехала, в качестве наложницы, знаменитая артистка Би Юнь-ся (точный перевод на русский: Роса яшмового облачка); великая красавица Би Юнь-ся, как известно, играет роли не только на театре, но и в государственной жизни Китая. Так, например, в 1924 году в Пекине, в дни упейфуского парламента, один из членов парламента, борясь с пассивностью Росы яшмового облака, отказавшейся стать его любовницей, — пользуясь своим «парламентским правом неприкосновенности», — приходил в парламентскую ложу в одном верхнем халате и — выставлял за барьер ложи свой голый живот — на предмет посрамления искусства Яшмовой Росы, сорвав таким образом гастроли Би Юнь-ся.

«Би Юнь-ся появилась в доме маршал Коу, — и в Кайфыне, в столице дубаната, все дела приостановились в неясности и в нерешенности ввиду того, что мать маршала- дубаня Коу, приверженица старого режима и старых обычаев, встретила Би Юнь-ся крайне враждебно, все время разбирает ее пороки, ежедневно устраивая скандалы, доходящие до драк. Все это так отражается на дубане, на его государственной деятельности, что он потерял работоспособность, пребывает в нерешительности и послал маршалу У ответную телеграмму, прося разрешения отложить поход впредь до ликвидации семейной неурядицы. В доме дубаня дело обстоит так, точно разбушевались волны в море».

— Чего вы смеетесь? — спросил Крылов.

— Молодец, товарищ Китай! — сказал я.

...Вчера весь день хотел сидеть дома, но пришли люди и повели на митинг американского миссионера армии Фын Юй-сяна. — Странно, очень странно!.. Митинг был в европейского стиля американском театре. В театре собрались китайцы и очень немного европейцев. Армия Фына — носит название: «Христианская армия». И митинг начался протестантскими песнопениями — за «христианского генерала» Фына, — стоя, китайцы — по-христиански — молились за Фына и за его народные армии, — хором пели гимн армий Фына. Затем показывали туманные картины: Фын и его солдаты — на молебне, в пекарне, в слесарной мастерской, в шорной мастерской, — армия в походе, армия на биваках, пехота, конница, артиллерия... — Затем все собравшиеся на митинге фотографировались. Затем началась лекция о том, какой замечательный человек, христианин и вождь — маршал, водитель народных армий Фын Юй-сян, который каждое утро молится, сам трудится ручным трудом, — не ездит на рикшах сам и запретил своим солдатам, — сам вместе со своими солдатами читает Библию и историю Китая... Американский миссионер изображал Фына, ныне находящегося в Москве, как некоего таборита, постника и верижника, спартаковствующего своим временем...—Жара была в театре неимоверная, хуже, чем на полке в бане.

С жарой я не справился и, изнемогая от жары, направился домой. Ужинали, сидели под фэном... — да, так и засиделись с Локсом до четырех часов, в разговорах бродяжествуя по России от ее прошлого к настоящему, будущему, — от севера до юга, от мелочишек до великого. Сидели в его кабинете, полуодетыми, пили бесконечную содовую — и говорили: — о милой России, за которую всегда надо умирать!..

Эти дни я занимаюсь Китае-русским лит.-худ. обществом — «Китрусом» — и еще раз устанавливаю, что первое слово в Китае и первое дело: «маманди», — погоди, не рыпайся, сейчас!.. — Сегодня получены сведения, что мой пароход — «Октябрь» — выходит рейсом в Тяньцзин, оттуда — сюда, — в море пробудет недели три. — Сегодня с океана подул ветер, сначала мел пыль, теперь несет бодрость. Оттого что пришли вести о пароходе с моря, а с океана дует ветер и раздувает мысли — от этого стало лучше, ибо впереди возникло какое-то движение... — «Маманди!» — это «маманди» начинает мне казаться ядовитым, ядом Китая...

... — Полночь, гудит ветер, трещит мой сверчок, Локс сидит над книгой, дверь отворена. Локс сказал, что скоро с океана будут приходить тайфуны. — Передо мной дорога, очень длинная дорога, ибо только теперь я понимаю, как велики, оказывается, километры. —

Пришел Крылов, сел, сказал так, чтобы не слышал Локс:

— Я ведь только девятого узнал адрес жены. Сейчас, кажется, она в пути к Москве, в Монголии. Я не знаю, как она жила, где была, что узнала, что видела, кого видела.

Ночь, неизвестно, когда спят китайцы, — за окном шум, ветер перепутал на канале все сампанки. На диване передо мною, — диван с полками, — стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Ян-Цзы, — бог хитро улыбается, — я думаю о Крылове и о яде «маманди», о яде ожидания, неизвестности. Бог улыбается этим «маманди», всем Китаем, морем и пароходом, — это для меня. Для Крылова же — «маманди» улыбается — и богом и Китаем, и — женою, провалившеюся в километры неизвестностей.

4 часа ночи. Лег было спать, и не заснул. Слушал ветер и писал декларацию «Китруса».

. . . . . .

Китайская сказка — «Справедливый суд».

«Юноша и девушка полюбили друг друга и поклялись жениться, — но молодого человека взяли на войну, и он провоевал тридцать лет. Родители девушки решили выдать ее за другого. Она сопротивлялась, — родители настояли на своем: — в день после венчания она умерла. Ее похоронили.

Жених вернулся с войны и спросил, где его невеста. Ему рассказали, что произошло. Он отправился на могилу. Он раскопал могилу, чтобы взглянуть последний раз на любимую. И, когда он раскопал могилу, — любовь его была так сильна, — девушка встала из мертвых. Жених взял ее на руки и понес к себе.

Тогда тот, за которого ее выдали замуж, потребовал себе жену через мандарина.

Мандарин рассудил:

— Случай, когда настоящая дружба и любовь смогли тронуть небо и землю и законы природы — до того, что они вернули жизнь мертвому во имя любви, — не должен судиться законами мандарина. Девушка должна принадлежать тому, кто вывел ее из могилы». —

Сказку рассказал Крылов.

. . . . . .

Вчера в сумерки ездили на пароход, провожать земляков, едущих во Владивосток. Плыли по Ван-пу, на мотор-боте, покачивало, был ветер, садилось солнце... Есть, есть тоска по чужбине, и хорошо смотреть, как корабли уходят в море, как люди тащат свои чемоданишки (бедность свою!), спорят, смотрят каюты, суют свои узелочки... И — не хорошо уходить с корабля, с того, что уходит в море, уходить на бот, тот, что идет назад, в порт,

на берег!.. — И возвращались мы под луной, в волнах, в тишине отлива. —

...Хорошо куда-то ехать: и я переехал из одной комнаты в другую, сам себе съимпровизировал кровать, фэн, ветер с террасы, — бой смотрел недоуменно на мое строительство, мы же с Локсом в честь сего моего переезда выпили бутылку шампанского и по рюмке ликера. Бою я заявил строжайше, что от сего числа дома я хожу без брюк, а посему — без доклада к нам никто допускаться не может. В силу этих обстоятельств мне показалось, что я переехал на несколько градусов к северу: легче дышать, легче жить и думать. — Локс прилаживает на террасе фотографический аппарат: намеревается зафотографировать ночной канал — —

. . . . . .

...я выдумываю — —

...на океанском пароходе типа «Эмпресс», идущем из Сан-Франциско к берегам Китая, — едет американка, женщина или девушка...

Стоит ли серьезно шутить над английской, англо-американской манерой жить, не ходить, а при помощи ног носить собственное свое достоинство, цилиндр и смокинг, знать, как и когда есть и говорить, как держать себя с отцом, сыном, сестрой, женой, иноплеменником, как отдыхать, работать, радоваться и помирать. У них есть торжественность каждой минуты будней, ритуал жизненных будней, есть заполненность жизни — временем, традициями, тем, что наполняет каждую минуту, что за тебя, инвидуума, решило большинство, общество, нация. Эта традиция жизни есть у всех, начиная с русского крестьянина, где эта торжественность вылилась в брачные, похоронные, бытовые песни, в пироги к празднику и в то, что первым за столом берет хлеб — хозяин. — И этой торжественности нет только у интеллигенции — русской

в первую очередь, — и у интеллигенции тех стран, которые культурно — в западно-европейском понятии этого слова — стоят ниже России, как, например, — по понятиям европейцев — Китай. Это понятно: — европейская «культура» уничтожает национальный быт, — «обезбычивает» национальный быт, как слишком глупый и не портативный, и вносит новаторский «индивидуализм», в большей мере построенный на безграмотности, на простейшем невежестве, как это было в России при Петре Великом, когда резали ферязи. В Китае интеллигенция так же «обезбычена», как и в России, — в Китае — в этой стране конфуцианской вежливости, церемонии, регул. — Так расщатываются понемногу все «столпы» всех национальных культур, — но именно в этом месте нарождается новая, уже не национальная, но мировая культура, — именно на этом стыке нарождаются такие люди, как Лю-хфа, ради которого я пересиливаю маразм зноя. — Россия, конечно, не в счет, ибо отсюда мне видно, что у России никогда и не было своей культуры, Россия всегда была «отъезжим полем» чужих национальных культур: — огромное полузаселенное поле, до сих пор еще не окончательно разметившее и закрепившее землю, стык всех мировых культур, — Россия — страна вотского бескультурья — обрабатывалась Византией, — затем Монголией и (через Монголию — одновременно ведь были под игом — погуливал по России и Китай, — поместился в Московском Китай-городе, в Коломенском зарядьи, у бабушки моей Екатерины в Саратове, — не случайно «китайка», не случайно «чай»), — после татар — Византии — Европа, до последних лет, — Европа, Европа с примесью щедринского, сиречь просто варварского, варварства, с примесью Китая — Китая медленностей, церемоний, — того Заволжья, которое я впервые увидел не здесь в Китае, а у моей заволжской бабушки. Россия—

есть «отъезжее поле» чужих культур, путь «из варяг в греки», даже антропологически. Это было одно из прав России первой пойти в строительство наднациональной культуры, мировой — —

...Да. Но на гигантском пароходе типа «Эмпресс», более совершенном, чем пароход, описанный Буниным в рассказе о «Господине из Сан-Франциско», плыла в Китай молодая американка — лэди и сотрудница миссионерского общества сикковеев, плыла на предмет просвещения диких китайцев в свете христианства. Я откидываю условности беллетристического повествования, где нужно иносказательно вдалбливать читателю авторские мысли: — я знаю, что цель поездки этой американки глупа, что эта американка — вообще глупа, что Китай ей нужен, так же как Гонолулу, — и известен, примерно, так же. Это знаю я. Этого не знала она.

Она проснулась рано, в люк шло солнце, ветер был прохладен, океан за люком катил синие волны, — все, как подобает, — в постель ей принесли чая и фруктов. Выпив, в пижаме, она пошла в сортирчик и в ванну, как полагается человеку с утра. Сортирчик и ванна были в ее же каюте. Горничная-португалка в ванной — губкой — соленой водой — растирала тело мисс Брайтэн, массажировала душем. Затем мисс Брайтэн стала одеваться, причесывалась, чуть-чуть припудрилась. Прогремел к брекфесту гонг, похожий на плач сирены, — и мисс Брайтэн пошла есть свои апельсины, овсянки, рыбы, мяса, померанцевое варение, кофе. Потом она лежала на дэке в лонг-шэзе, прикрыв волосы косынкой, с книгою в руках. Она не читала. Океанский ветер обдувал ее спокойствием. Она думала, прикрыв глаза от режущего света волн, и мечтала, как подобает человеку в бездельи, в море и под солнечным ветром. Та страна, в которую она ехала, была неизвестна ей: она представляла ее себе

так, как представляют эту страну все, не знающие ее, — драконами, иероглифами, рикшами, мандаринскими традициями, свадебными и похоронными процессиями, храмами, пагодами, каналами, джонками, сампанами, паланкинами, многомиллионностями, — представляла своею работой, тишиной того миссионерского собора, монастыря, колледжа, в общежитии которого она — не монашенка — будет жить, слышала колокольный перезвон этого монастыря, видела солнечную прозрачность и пустынность рядов скамеек в соборе, — шла фантазией своею по аллее парка, над каналом, во влажной бодрости цветов и утра (...все впоследствии так и было, как представляла она себе в пути, как создала она по письмам подруги и по фотографиям, — потому что жизнь ее построена была традициями, строгими курантами регламентов, когда американцы и англичане не имеют понятия «заграница», проживая даже в Китае по-американски, — и когда они могут — за три года вперед с точностью до недели знать свое будущее — и не ошибаться!). На пароходе тем утром она думала и о вольностях, о тех «вольностях», которые позволяют себе американцы в Китае, — например, о поездке к Западным горам в Пекине — на людях — в паланкине, — совсем, как в древности, как Клеопатра и иные красавицы мира, — а какая же женщина не хочет помечтать о том, что было бы, если бы она была Клеопатрой!?. Ну, конечно, в китайских тропических ночах, поди, виделись ей глаза некоего Артура или Стивена, — она ведь не знала удушливых «прелестей» китайских ночей!.. — Все же, эта миссионерская женщина на «Эмпрессе» — была просто хорошей американкой, воспитанной, разумной, сколько надо, целомудренной — фактически, — и почти-целомудренной — морально, — добрая, торжественная, знающая свое право на жизнь и честь, — недурная по внешности, чисто вымытая, хорошо питающаяся, — была хорошим экземпляром женской особи саксонской породы, чуть-чуть суховата, чуть-чуть длинноногa (т. е. этим отступающая от идеального человеческого экстерьера). — Ветер веял соленым воздухом океана, тем, от которого никогда не бывает чахотки. — Субъективно эта женщина была права во всем. А объективно — —

По просторам Великого океана идут пароходы, несут пушки, товары, деньги, людей, знание. В тот порт, где живу я, каждые сутки с океана приходит до сотни океанских пароходов, — в эту рану, которой истекает в мир Китай, — в это окно, которым лезет мир в Китай. — —

...Мир переживает сейчас эпоху, когда национальным культурам тесно за своими заборами, когда национальные границы валятся, когда культуры пошли гулять по миру — не только пароходами и пушками, не только машинами, но и всяческим знанием, всяческим бытом, когда мир пошел к уравнению всего имеющегося в мире. И великая китайская стена — падает. Власть шанхайских и кантонских и тян-цзинских заводов идет командиром по Китаю. Вокруг моего города дымят заводы. Город и пригороды грозятся забастовками. Тысячи пароходов идут сюда со всех концов мира и уходят отсюда во все концы мира, привозя сюда все, что создает мир, оставляя здесь это все, что создает мир, и еще куски жизней тех людей, которые везут «все это». Азия смешалась с Европой ужаснейше. Ночами матросы идут по притонам, темными переулками, где в канавах валяются собачьи трупы, где нечем дышать. Здесь же в этих грязных переулочках играют в маджан и кости. Здесь же пахнет опием: — там, в опиокурильнях, на канах, на полу, на цыновках — лежат люди в наркотике опия, в причудливых видениях, эротических и таких, которые одни, быть может, сохранили «душу» Китая. — Днем на набережных

тысячи, десятки тысяч людей тащат, волокут тюки, кули, бочки, ящики, — миллионы пудов всякой всячины. Дымят фабрики и заводы. И здесь на набережных и на заводских дворах, неминуемо здесь нарождаясь, возникают — капиталы, забастовки, союзы, партии — революции. — Но за набережными идут переулки, где бесконечными ларьками расположились ремесленные, гильдейские кузнички, фарфоровые заводики, чайные лавочки, харчевни, — все то, что жило тысячелетьями, что в течение тысячелетий было индустрией Китая, — гильдеец, цеховик, кустарь, делавший все, что нужно было Китаю. И там, в этих теснейших переулках, особенно у храмов, сидят за своими столиками — колдуны (как перевел мне мой друг, китайский поэт Дзян) — гадатели — вещатели — письмописатели... Цеховой Китай!.. — А за городом трупы людей на полях и — колоссальный, нищий труд, мощь Китая, — там — по полям, по проселкам, по каналам и железным дорогам — идет — российский осьмнадцатый год, смерть и голод, победы и побеги — —

...сейчас приходил Крылов, сообщил, что 4-я народная армия, отошедшая было от 1-й народной к У Пей-фу, вновь изменила У, вернулась к Фыну, обнажив фронт и разгромив несколько городов, — эти гражданские войны в Китае, пример феодальщины и империализма, — и того, как у нации просыпается национальная гордость и мощь!..

...Нет слов, чтобы передать грязь закоулков китайского бытия, убожества, нищенства, — нищенства, когда здесь крупной ходовой монетой является тунзер, равный полукопейке и в свою очередь меняющийся на десять кешей, — нищенства, когда все дети ходят голыми, а взрослые полуголыми, — нищенства этой колоссальной тесноты, когда люди живут не только под крышами, но месяцами, годами — просто под деревьями, — житье на

сампанах — роскошь, там живут «извозчики», водяные! — когда люди питаются отбросами всех видов, и многие имеют профессией то, что собирают на улицах навоз и — почтенная должность женщин — возят по городу на тачках человеческий помет (европейский помет ценится дороже китайского, и был однажды бунт, когда иностранцы запретили было возить «это» на тачках, — тогда бунтарки-бабы лили оные тачки на европейцев!). — За западными воротами моего города, — каждый день об этом сообщают в газетах, — расстреливают людей, рубят им головы и душат их, — причем смерть удушением — национальное китайское изобретение — особлива тем, что, если преступник учинил семь преступлений, его будут душить семь раз, каждый раз не додушивая окончательно и только в последний раз умерщвляя. Головы преступников хранятся за западными воротами в клетках из рисовой соломы, на столбах. — Нигде нет такого количества полиции и такого уличного мордобоя, как это есть в Китае.

Европейцы живут — на сеттльменте, на французской и английской концессиях. Англичане, американцы, испанцы, португальцы, французы, итальянцы, немцы, русские, португальские и арабские евреи, — все это — «иностранцы», «европейцы». На концессиях своя, не китайская жизнь, за своими законами и полицией. На калитке Джэстфильд-парка начертано: «Китайцам и собакам вход запрещен». Сейчас в местных газетах (а газеты здесь на всех языках) идет ожесточенный спор — передавать ли или не передавать китайцам — суд, хотя бы над китайцами, — европейцы доказывают китайцам, что им, китайцам, не стоит брать на себя судебные заботы, издержки и беспокойство. — В стороне от города стоит миссионерский Сикковейский монастырь, там тишина католичества и иезуитизма, перезвон колоколов, черные, все на подбор, монахи, светлый парк. Иностранцы живут

медленной, чистой, сытой жизнью, в своих «флатах», со своими моторными лодками и автомобилями, которыми правят они сами, их жены и любовницы. Ванну надо принимать — три раза в день, штаны менять — дважды, воротничок — дважды. Днем надо сидеть под феном и пить сода-виски. Надо очень следить, что можно и чего нельзя есть в этой варварской стране постоянной холеры и чумы. Вечером надо ехать в Джэстфильд-парк, за город, в «Мажестик», в кино на воздухе, где бои ходят по рядам и прыскают неким, приятно пахнущим, снадобьем под ноги, чтобы не кусали москиты... Мужчинам надо наблюдать, как делаются их — и их компанией — деньги. — Ну, почему тут не расцветать прекрасным лэди, которые сначала обучаются в монастырских — английских, французских, американских — колледжах, дома тренируясь роялями и рисованием, и рукоделием, — затем принимают мир чистоплюйными романами, в чистоте, ясности, в законах и канонах...

. . . . . .

...должно быть, сейчас сезон этим летающим светлячкам и сезон цикадам, ибо и тех и других очень много... Весь день сегодня истекал потом и теми строчками, которые только что написаны, в жаре и обалдении. А вечером мы поехали в этот самый Джэстфильд-парк, на симфонический концерт. Я и не подозревал, как в этом парке хорошо и красиво, и поучительно!.. Это совершенно английский парк, по-английски распланированный на тысячу десятин земли. Деревья в парке были разукрашены фонариками, — была синяя, как всегда очень темная, темь, светила луна сквозь молоко облаков. Люди приходили в солидной медлительности, почти одни англичане. Перед ротондой рядами расставлены лонг-шэзы. Людей было очень мало, англичане утопали за спинками лонг-шэзов, в тишине вечера, в прохладе ветра, в этих летящих светляках. Разговоры тихи и медленны. Казалось, что людей нет, и сквозь шум цикад приходила музыка симфонического концерта. Я не знаю и не понимаю музыку, — но сегодня мне было очень хорошо слушать. Музыка была европейской. Я все время рассуждаю с китайцами-профессорами о том, что европейская культура слишком уж реалистична — этой музыкой можно было уйти в «ирреальность», — музыка — есть тот путь в непонятное, в неизмеримое аршином, туда, где коверкается обаршиненное. Сидел, слушал, мне было очень хорошо — уйти из реальностей в непонятное. И опять это к моим мыслям о Европе и Азии,— к тому, как «Европа» обставила себя здесь, в Азии, колонии: хорошо соблюдают «чистоту» этой музыкой чистоплюйную. Фонарики мигали успокаивающе. — Потом у подъезда разбирались автомобили, разъезжались люди по чистым простыням спокойных ночей. Я был с Локсом, — мы поехали прокатиться за город. Я смотрел, как по краям шоссе спят китайцы. — Удивительно сумели англичане «вырезать» своими ножницами «культуры», выкроить из Китая — этот парк, эту музыку, — эту «Англию»!

Музыка же и прекрасная ночь Джэстфильд-парка — никак не виноваты в том, что они прекрасны.

. . . . . .

Пекин — военный город российского 1918 года. Все дворцы, все храмы забиты людьми, или разрушены и стоят в забросе и грязи. На площадях пушки. На перекрестках патрули. Всюду, всюду грязь и шелуха арбузных семечек. — На воротах в дипломатическом квартале написано — «Нищим вход запрещен». У ворот дипломатического квартала стоят пулеметы и английская, американская, итальянская, японская стража. На плацах дипломатического квартала маршируют и «экзерцируются» европейские солдаты, стреляют пачками и залпами. На

ночь в дипломатический квартал впускают по паролям. В тишине рассвета слышна артиллерийская стрельба, — и никто не знает, то ли это обучаются чжандзолиновские артиллеристы, то ли пробивается восставший полк. — Императорский дворец и его музеи — заняты солдатами. Можно наблюдать, как солдаты — несколько человек в ряд — орлами — сидят на дворцовой стене, над городом и — испражняются на город. — В Храме пыток, в том храме, который дал повод Октаву Мирбо написать роман «Сад истязаний», — в этом храме — пыль, запустение и толстый, полуслепой монах, который не разговаривает, окурившись опия, но сразу требует доллар, — в пыли в храме стоят боги, изображающие наглядно все виды пыток, ужаснейшие пытки, которые сейчас покрыты слоем пыли пальца в два толщиною в забытьи вообще, а, в частности, потому, что все эти виды пыток вышли на улицы гражданской войны, расплылись по всему Китаю. — Жар и пыль в Пекине невероятные. — В торговом городе тысячами — без преувеличений — ходят нищие. На перекрестке стоит вожак нищих — прокаженный, он совершенно гол и кости его ребер наружу, с них сползла кожа, запекшаяся зелеными струпьями, — он стоял бодро. Нищие ходят толпами. Нищие кооперированы в союз, раньше председателем союза по чину был один из младших сыновей императора, — императоров теперь нет, председатели нищих — миллионнобогатые люди, — хотя нищим подавать — нет никакой возможности, — потому что, если подать хоть одному нищему, сейчас же набросится вся тысяча, они будут выть, рвать одежду, толкать, негодовать, плясать перед тобой, плеваться...

...так вот, в Пекин приехала наша героиня, мисс Брайтэн, та, что плыла на пароходе «Эмпресс». Европейцы неприкосновенны в Пекине. Действительно, к Западным горам, к Летнему дворцу богдыхана ее носили в паланки-

не, как некогда Клеопатру, — несли ее четыре китайца, и она возлежала на подушках. Но это не главное. — Около Пекина, за торговой частью города, есть Храм неба, величественнейшее, грандиознейшее строение, разместившееся уже не на тысячу, как Джэстфильд-парк, а на тысячи десятин земли, тишины, красоты, величия, веков. В центре многих площадей, пагод, переходов, рощиц, аллей, стен, — под небом там есть мраморный алтарь, состоящий — мистически — из 81 плиты, ибо весь этот храм построен мистическою цифрою девять. Алтарь кругл, он вываян из желтого, теплого, как солнце, мрамора. Плиты алтаря построены так, что каждая плита имеет свое эхо, что каждый шаг по ним отдается округ гулким эхо, и чем ближе к центру, тем необыкновенней эхо. Над этим алтарем — синее небо, ничем не застланное. Кругом алтаря стоят мраморные урны, куда (так передают и, мне кажется, врут) сливалась кровь приносимых в жертву небу. Достоверно, что при императорской в Китае власти, раз в год, богдыхан, сын неба, приезжал в этот храм поклониться своему отцу — небу. Прошед по эхово-гулким плитам алтаря, на который только он один мог восходить, богдыхан ложился спиною на центральный камень и смотрел в небо. Тысячная толпа округ замирала в тишине. Эхо шагов императора исчезало. В величественной тишине зноя богдыхан смотрел на небо, созерцал небо, своего отца. — Императоров теперь нет. Храм запущен, в пыли, загажен человеческими экскрементами, — все стройки превращены в казармы, — все поляны загромождены артиллерийскими парками. Центральный двор, тот, где под небом лежат мраморы алтаря, — пуст, зарос бурьяном, — в сторонке, построив из досок шалаш, живут два сторожа, чего доброго, поселившиеся по своему почину, — днем они торгуют квасом и спят, — а ночью — —

Мисс Брайтэн познакомилась в Пекине с компанией американцев, лэди и джентльменов. Джентльмены предложили экзотичнейшее. С вечера в Храм неба отвозились вина, сладости и фрукты — тем двум оборванцам, которые сторожили алтарь Храма неба; при винах, сладостях и фруктах оставались лакеи джентльменов-американцев. А к ночи, когда спадала жара и особенно тесно ходили по улицам патрули, лэди и джентльмены ехали в Храм неба, — через патрули они пробирались, взволнованно перешептываясь, к алтарю. Каждая плита алтаря имела свое эхо. Лэди и джентльмены танцовали фокстрот и чарльстон на плитах алтаря, тех, где каждая имела свое эхо. Они танцовали под дорожный граммофон, который привозился вместе со сладостями, — музыка граммофона и шелест их ботинок отдавались священным эхо. Потанцовав, они отдыхали, пили вино, ели сладости — и танцовали вновь. Оборванцы, сторожащие алтарь, пристраивали к барьеру алтаря смоляные факелы. Однажды, в перерыв, с грушами в руках, мисс Брайтэн и ее джентльмен пошли по мраморной дорожке в сторону от алтаря, ко мраку деревьев, чтобы оттуда посмотреть на факелы.

— Посмотрите, — сказал джентльмен, — вот в эти урны сливалась кровь священных животных и тех людей, которых приносили в жертву небу.

Она ничего не ответила.

— Какая красота, — какое величие! — сказал джентльмен, и остановился.

Она ничего не ответила, она тоже остановилась. Она оперлась о его руку. Он взял ее руку. Это было первый раз в ее жизни: джентльмен поднес ее руку к своим губам и тихо поцеловал, — это было первый раз в ее жизни, когда наедине мужчина целовал ей руку. Но у нее не было сил противиться, — у нее кружилась голова в этой невероятной экзотике. Она опустила голову к нему на

плечо. Но это была минутная слабость. Она выпрямилась и сказала сухо:

— Да, очень красиво, — идемте танцовать, — и она пошла вперед.

Опять заскрипел граммофон, опять шло от плит величественное эхо, а люди дрыгались в чарльстоне. Наутро, они, лэди и джентльмены, возбужденные, усталые, ошалевшие от колониальной экзотики, нарушающей регламенты, чуть-чуть школьниками — ехали на автомобиле в прохлады своих домов, чтобы принять ванну и лечь спать.

. . . . . .

...Говорят: «китайские маршалы воюют только потому, что у них есть армии, которые должны работать, — и потому, что маршалы живут феодализмом». — Знаю, маршал такой-то сегодня был с Чжан Дзо-лином, Чжан его обидел, и, если Чжан не успел этому генералу отрезать ушей, носа, переломать костей и выбросить его на навоз, — этот генерал ушел от Чжана — или к У Пей-фу, или в хунхузы; пробыв же в хунхузах месяцев шесть, он пишет маршалу Сун Чуан-фану, шлет ему поклоны и цибики чая — и вступает в полки маршала регулярными войсками со всеми своими солдатами. — Европейцы схематизируют: — Чжан Дзо-лин есть ставленник японцев. Северные три провинции, в сущности, суть колония японцев, маршал У Пей-фу ориентируется на англичан и американцев; Фын Юй-сян — на СССР; кантонцы — тоже на СССР. Но года два тому назад маршалом У чуть-чуть было не был подписан дружественный договор с СССР. В схемах понятно, что англичане и японцы, в меньшей мере французы и португальцы, те страны, которые имеют н е д в и ж и м у ю собственность в Китае, хотят видеть Китай таким, каким он сейчас есть, и всячески держатся за договора прошлого века. Американцы позднее вышли

на мировой рынок и на Дальний Восток, у них нет собственности в Китае, но у них есть товары, — и они хотят видеть Китай национально-буржуазным, сильным государством, которое имело бы единую валюту, могло бы покупать и продавало бы сырье: американцы учредили в Китае тридцать тысяч первоначальных школ, больше десяти университетов, и тысячами везут китайчат в свои Штаты. СССР намерен видеть весь земной шар свободным, правомочным, рабочим и в знании. Я ничего не могу понять в китайских делах, — но понятно, что Китайская республика, то, что называется Китайской республикой, есть напряженнейший узел всей мировой политики. Я сказал — «то, что называется Китайской республикой», потому что в действительности этой республики не существует: Чжан Дзо-лин никак не подчинен У Пей-фу, — ни Чжану, ни У, ни Суну — никак не намерен подчиниться Кантон. В Пекине то-и-дело создаются правительства и правительствующие кабинеты, но им никто не подчиняется, они существуют фиктивно, главным образом для того, чтобы иностранным государствам было с кем разговаривать. Маршал Чжан, неграмотный человек, в свое время — начальник хунгузского, сиречь разбойнического, отряда (в 1904 году, во время Русско-японской войны, он грабил русские обозы), — маршал Чжан своим приближеннейшим генералам, когда они впадают в провинность, режет носы и уши. — Маршал У, получивший мандаринское образование, считает погибшим день, если в этот день он не написал стихотворения, по китайским правилам, лирического. Маршал Фын молебствует христианскому богу — каждоутренне. Дубани, губернаторы провинций, генералы и полковники — то-и-дело бегают от одного генерала к другому, изменяя то одному, то другому, кто больше заплатит жалования и даст лучшую провинцию на грабеж. Маршал У — в

этом, 1926 году — в провинции Хенань собрал с крестьян все налоги вплоть по 1936 год, — и сделал это не только к тому, чтобы пограбить, но и затем — китайская мудрость! — чтобы закрепить верноподданность этой провинции: другой, дескать, генерал начнет подати собирать сызнова... — Ничего не возможно понять! — но понятно, что вот четырнадцатый уже год, над Китаем гремят пушки, разоряются и грабятся города, поля и села, нищенствуют люди, все больше и больше возникает на полях могильных бугров, — в этой колоссальной китайской тесноте четырехсот пятидесяти миллионов населения. На порогах дипломатических кварталов и иностранных концессий — стоят пулеметы. На рейдах в портах серыми громадами беспокойствуют дредноуты и крейсера, американцы, англичане, французы, японцы...

. . . . . .

...все это — в этот отчаяннейший зной — я пишу к тому, чтобы рассказать историю одного китайца, несчастного и милого человека Лю-хфа. Быть может, он родился на сампане, около нашего моста, на нашем канале: он был таким же мальчишкой, как вон те голыши, которых я вижу со своей террасы, которые привязаны веревками, чтобы не свалиться в воду — — ... я нарочно в этом месте писания выходил на террасу, чтобы посмотреть на них: ветреный день, волны, прилив, везут караван джонок с дынями и арбузами, выгружают тюки, стонут грузчики китайской дубинушкой, небо в клочьях облаков, — канал гудит криками, стонами, гудами катеров и пароходов, ревками бегущих по мосту автомобилей и трамваев, — вдали дымит серый американский дредноут: — эти сампаны, где живут люди, прикрылись от солнца цыновками, безмолвствуют, — и: — в шуме канала и города, за этими шумами — я услыхал с этих лодок несколько детских п л а ч е й — невидимых детей, скрытых от солнца цынов-

ками... — — Этот мой мальчик нашел в себе уменье выбраться из этих лодок на землю, на набережную, на улицы. Он прошел сложнейшую социальную лестницу, добравшись к осьмнадцати годам в наборную китайской типографии. Должно быть, он был гениально-талантлив, — ломоносовствуя, он кроме социальной лестницы шел еще и трудными дорогами знанья и раздумья, ибо к двадцати пяти годам он оказался библиотекарем местного китайского университета, построенного на американские деньги и по английскому образцу, — он, мой герой, изучил несколько языков, и, библиотекарствуя, вольнослушал в университете. Тишина «лайбрари», университетского парка не помешала ему выйти из университета человеком, очень понявшим то, что ему рассказали книги, совершенно (так же, как наши студенты, хорошее их племя) потерявшим быт и условности, понявшим, что в мире идут революции, не могут не итти, что его родина — великая и богатая страна, с огромным будущим, что мандаринство его родины и феодализм маршалов — есть старый намордник, что его долг — итти и делать. Очень редко родятся люди с очень ясными мозгами, — почти всегда у людей есть «намордники» и «маски», когда люди или не умеют просто видеть и мыслить, или застят видение традициями, церемониями, привычками: — этот не имел никаких традиций, кроме традиций своего мозга и знания, — он умел видеть и не носил никаких масок, — он все брал на зуб знания.

...оттуда, с набережных, откуда пришел он, из тюков, бочек, пудов, тонн, шиллингов, долларов, тунзеров, «биг» и «смол» мони, из нищеты и из богатства, — кроме него на набережные, в пригороды пошли: — на набережные — американские небоскребы торговых фирм, универсальных магазинов, банкирских контор, — пригороды — заводские и фабричные поселки, фабричные и

заводские дворы, заводы, дымы, гуды, — пошла, народилась — национально - китайская — «компрадорская» — буржуазия на верхушках социальных лестниц, в бельэтажах небоскребов, в загородных виллах, — а по низам, по пригородам пошла, народилась — китайская рабочая гольтепа и возникли речи о пролетариях всего мира. Эти из пригородов не теряли родственной связи с портовыми набережными. Этот, мой герой, выбрал судьбу — быть глашатаем этих из пригородов: он стал против англичан-иностранцев и против компрадоров-соотечественников. Этот человек был убит — неизвестно как — повешен, застрелен или задушен, — известно кем — англичанами и компрадорами вместе. У этого человека был кинематографический год, когда в этом миллионнолюдном городе он — товарищ председателя совета профсоюзов — выступал на митингах, организовывал стачки, убегал от всех видов полиции с многопудовыми мешками тунзеров и кешей, профессиональных членских денег, без дома, без крова, без риса, без ночей.

Он был арестован англичанами на китайской территории. Он погиб из-за двух пудов тунзеров. По крыше он убежал из дома, когда пришла полиция. Но он не успел вынести с собой всех денег. И он покрался за ними обратно в дом, занятый полицией. Два пуда меди он спас. Сам он погиб.— Сейчас в местной прессе идут споры о суде, о том, кому судить. Англичане потеряли право судить и приговаривать к смерти тех китайцев, которые попались в преступлении не на «их» территории. Этот человек был взят на «китайской» земле — —

В Китае смешалось все — от феодалов, от колонизаторов до буржуазии (национально-китайской, мокпрадорской, европейски-образованной, воинственной, молодой, пиратской), до пролетариев (от студенчества, профессуры, портов и заводов). Этими местами правит —

дудзюн, маршал, феодал, мандарински-образованный человек Сун Чуан-фан. Сун постоянно живет в «южной столице» — в Нанкине, его резиденции.— Сун приехал в наш город. Броккеры устроили в честь его банкет,— по-китайски, когда едят сотни блюд засахаренного мяса, ласточкиных гнезд, перепротухлых яиц, акульих плавников, бамбуковых корней и почек,— а после обеда едут в публичный дом курить опий и совокупляться. Англичане дали маршалу банкет,— по-европейски, где лэди были в вечерних платьях, а джентльмены — в монкэ-фраках, с цветами на столах, с речами и со всяческими бифами, винами, фруктами, остротами и фокстротом. А затем, когда Сун уезжал, уже на вокзале (ведь по китайским традициям — всегда надо говорить о деле «между прочим», надо «отговариваться», говоря о деле),— представитель броккеров и представитель консульств, в окончательнейшей вежливости и в блеске остроумия, попросили подарить им голову преступника. Сун — «подарил».— У китайцев придумано очень много средств уничтожать человека: душат, вешают за ноги, распиливают пилою, рубят головы, сдирают кожу, стреляют: сегодня было в газетке, что завтра будут расстреливать, за Западными воротами. Неизвестно, как умер Лю-хфа — задушили ли его, содрали ли кожу, повесили, пристрелили — где, когда, как,— никто не знает,— но о нем уже пишут поэмы китайские поэты, одна такая поэма есть у меня. Можно представить ночь, камеру китайского застенка в городской стене, там, где тюрьма, ночь, — палачей, хрип удушаемого — спокойствие палачей: мне рассказывал один китайский революционер, — при нем застрелили его товарища, их было несколько свидетелей, все были покойны, и тот, расстреливаемый, перед расстрелом ковырял в носу, — китайцы не боятся смерти...— —

— — ...так вот, о той девушке, которая приехала в начале вчерашнего моего писания на пароходе типа «Эмпресс» и которая субъективно права.— Эта девушка брала книги у Лю-хфа, когда он был библиотекарем в «либрари»,— она была на банкете, устроенном англичанами в честь маршала Суна (точнее — в честь Лю-хфа!),— а в дни, когда душили Лю-хфа,—она вышла замуж за секретаря английского консульства,— того самого, который представительствует Англию в «микст-корте» — в том «смешанном суде», за «свободу» которого так ратуют англичане, и который, конечно, приложил свою руку к делу Лю-хфа.

...Этот герой мой, Лю-хфа, вместе со своими товарищами, пошел против — очень многого: против колонизатора-иностранца, против цехов мандаринского варварства, против драконов маршалов и — против купца, фабриканта, компрадора, того, за свободу которого ратует Америка,— против всего, против всех, ибо «действительно — разумное», но не «действительное — разумно». Он снял китайский халат быта и драконов, без всяческих намордников. Он погиб, выручая два пуда меди.— Но я не случайно начал вчера этакой чистоплотной, откормленной, честной и целомудренной девушкой, той, которая в его смерть вышла замуж. Он, мой герой, был: ч е л о в е к о м, а любовь — свободна: в дневниках, которые вел этот китаец, было очень много места посвящено ей, ибо он любил эту женщину, как можно любить ветер,— любил женщину, имея один-единственный этот «намордник» любви, который выводит в нереальность — так же, как меня вчера — музыка на симфоническом концерте. — Эта женщина никогда не знала, что ее любит полуголый библиотекарь, тот, который не мог пойти за ней в Джэстфильд-парк, ибо туда «Собакам и китайцам вход запрещен» — —

. . . . . .

...выходил сейчас на террасу. Луна светит, отражается в масляной воде,— тухлятинкой пахнет, мертвой человечиной,— переругиваются женщины на сампанах,— бегут по реке огни катеров. Иногда нападает такая,— слов не подберу: нельзя монастырствовать, но ничего не хочется и нечего делать в этой жаре,— нечего читать и устал читать, не с кем говорить и не хочется говорить, нельзя так сидеть без дела и ничего не хочется делать, надо думать и не хочется думать,— ничего не хочется, а сидеть так нельзя, и спать тоже нельзя. Жара! — жара!..— раздевался и целый час лежал в ванне, в воде, до одурения, ибо и из ванны вылезать — тоже не хочется!..— Та девушка, что плыла на «Эмпрессе», могла и не выходить замуж, могла не только сытно есть и чисто мыться, и быть честной в субъективности своих традиций: — она могла быть и замечательным человеком, таким же незаурядным, как он, мой герой, задушенный Лю-хфа: предположим, в ней была тургеневская «лизокалитиновщинка», прекрасная ясность чистоты, веры и целомудрия — и веры, что в мире — самое главное — любовь, единственная, как знание и как подвиг, — — и все же, он, роман Лю-хфа, протек бы и должен был протечь так, как я записал его.

На канале сегодня весь вечер воют собаки, на разные голоса, тоскливо. Я рассмотрел: приплыла целая сампана с собаками. Я спросил боя, в чем дело. Оказывается, этих собак по каналу привезли из провинции, и они пойдут на убой, на пищу.— Мы, Локс, Крылов и я, живем здесь потому, что нас послала русская революция, потому что мы, русские, стали против всего мира.— Локс сидит в столовой за столом, в горе апельсиновых корок, над английской книгой о Китае: некогда Локс просидел год в одиночке, в крепости,— он говорит, что там у него выработалась привычка разговаривать с самим собою: —

я пишу на машинке,— я слышу, как он, читая англичанина, комментирует вслух, наедине сам с собою, по-русски... Опять выходил на террасу: Бэнд уходит во мглу, Ван-пу и канал все в огнях фонариков, дует ветер, лают собаки, над землей в облаках идет луна, совсем зеленая, как у нас зимой — — быть может, это на самом деле совершенно не лето и не Китай,— а глубокая сибирская ссылка?! — Мой сверчок помер,— должно быть, от жажды.

...на этом месте прерывал писание: решили с Локсом поиграть в шестьдесят шесть — в ссыльную игру... да обошел весь дом и карт не нашел. Решили твердо — завтра же — купить карты и маджан. О моем пароходе ничего не известно.

. . . . . .

Вырезка из местной газеты — —

«О п я т ь о п а р к а х.

Английская колония с трудом мирится с тем, что, не желая обострять и без того довольно натянутых отношений, власти сеттльмента, не издавая новых постановлений, решили смотреть сквозь пальцы на то, что китайцы проникают в те парки, куда еще недавно их не пускали, а также располагаются на лужайках Бэнда, до текущего лета также бывших недоступными для них.

Вчера опять на страницах «Норд-чайна-дэйли-ньюс» появилось негодующее письмо иностранца, в котором он спрашивает, пересмотрел ли муниципалитет правила пользования парками, а если пересмотрел, почему об этом ни слова не опубликовано в газетах?

И далее негодующий иностранец рассказывает, как он и его супруга в течение четырех часов вечером пытались найти себе местечко на скамейках лужаек Бэнда, но все скамейки были забиты китайскими кули. Поведение кули, лежавших на траве, шокировало супругу автора письма...»

. . . . . .

О Пекине.

Пекин — город мандаринов, храмов, пагод, ворот, стен, площадей,— город конфуцианской вежливости и тишины,— лотосовый город озер, каналов, храмов неба, солнца, тишины, пыток, пятисот будд,— столица древнейшей в мире, сверстной египетской, китайской культуры, где дворцы, храмы и памяти столь же фундаментальны, как пирамиды. Пекин — —

Пекин — —

В рассказе о Лю-хфе американская мисс Брайтэн танцовала чарльстон на алтаре Храма неба — —

В посольстве СССР в Пекине один из секретарей посольства подарил мне тетрадь стихов, ему, в свою очередь, подаренную автором этой тетради, моим соотечественником, содержащимся под стражей за убийство в пекинской государственной тюрьме. Автор подарил стихи секретарю, когда посольские сотрудники осматривали тюрьму.

Китай — Пекин — пекинская китайская тюрьма — —

Вот стихи моего соотечественника, соработника по творчеству — —

П а р о х о д!

Пароход судно речное,
Постоянно на парах,
Возит грузы, тянет баржи,
Шумит паром, пах-пах.
Топка топится дровами,
Но бывает, что и углем,
Без подчинки он годами
Плавает он ночь и днем.
В пароходах пассажирских
Народу всегда полно,
Есть там дамочки, мужчины,
Все выглядыют в окно.
Но они как-то ревнивы,
Скоро дают свою любовь,

Не чуть они не самомнимы,
Сколько ты будь к ней готов.
Вот и место она находит,
В каюту приглашает свою,
В каюте она с ума сходит,
Заставляет целую ее.
И дело кончилось улыбкой,
Оба смеемся вместе с ней,
Как она старательно и шибко,
А я навстречу шел ей.
С двумя проехал я весело,
Не прошло даже трех дней,
Вдруг стала боль сурова,
Не знаю я — поймай от ней.
Долго возился с этой болезней.
И с силою доктор мне помог.
Больше не еду я пароходом,
Я ненавижу пароход!

...Храм Неба, Храм Солнца, — Китай — Пекин — века, беззвучие веков и озер, заросших лотосами — —

Этакая человеческая пошлость! — Секретарь посольства, подаривший мне эту тетрадь, всю исписанную этакими стихами, рассказал мне историю этого поэта, моего соотечественника и соработника. Поэт — убийца и вор. Он осужден китайцами на десять лет. Он сидит уже года четыре. Он доволен судьбою. Тюрьма, где он сидит, образцова, по его понятиям: туда, в тюрьму, за взятку, раз в неделю к мужчинам пускают женщин. В Пекине живет и промышляет проституцией сестра поэта. Каждую неделю она ходит в тюрьму к поэту — не сестрою, а любовницей,— и поэт нещадно бьет ее, когда она не приносит ему того, что он заказывал,— шелковых носок, водки, опия.

Эта история с поэтом припомнена мною для Крылова, милого человека, который так перепутал себя, что свирепеет в тех случаях, когда жена в письмах шлет ему по-

целуи, оскорбляющие его, хотя и жена его — тоже милый, очень хороший, ни в чем не повинный человек.— Эта история — и для мисс Брайтэн.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро 23 июля.

В Москве сказали бы: — хороший выдался денечек, солнечный, безоблачный, тихий — такие дни в этих числах июля особенно хороши, когда появились первые, чуть-чуть заметные, паутинки, дымок среди деревьев, опрозрачились пространства, а под ногой — вдруг зашуршал первый листок, первый опавший листик, тишина на деревьях, и воздух такой синий, такой прозрачный, что меняются понятия перспективы и можно все зарисовать только акварелью,— дда,— — —

— — а сегодня здесь в газетах:

«Воздуха!.. Воздуха!

Сегодня — 117° Ф. Ну, а влага, которая давит, которая не дает дышать, кто учтет, что не достигнут уже предел, за которым начинаются прострация, безумие, умопомрачение. Город за эти три июльских недели не столько расплавлен, как разварен, распарен, вымочен, вымотан, измучен. Воздуха! воздуха!.. хоть глоток свежего, чистого бодрящего воздуха!..

77 смертей за день.

На сеттльменте умерло за вчерашний день 23 человека, заболело 17. На китайской территории заболело и умерло 42 человека. На французской концессии умерло 6 человек, заболело 19. Итого...»

...Невозможно, умопомрачительно! — не нахожу слов!..

Пришли вести с моря. Мой пароход будет здесь 10—20 августа, отсюда пойдем по китайским портам за чаем, потом в Сингапур, потом на Цейлон. Маманди — для меня — метафизикой!

И еще вырезка из газеты, объявление от начальства:

> «Все иностранцы предупреждаются относительно того, что поездки в Су-Чжоу-фу, а также в Хай-чоу в настоящее время, ввиду неспокойного состояния этих провинций, могут совершаться лишь на свой собственный страх и риск, китайские власти не дают пропусков в эти районы. Это служит лишним доказательством того, что в соседних районах снова становится непокойно!..»

Гражданская война! — революция!.. — Мы живем во имя революции, но живем мы — покойно до чрезвычайности. Бой принес маджан.

...Как велик Земной Шар! — я прислушиваюсь к себе в сегодняшних известиях с моря,— и мне опять уже хочется итти, смотреть, видеть, двигаться — до предела, до края. Дмитрию Фурманову, перед отъездом сюда, я надписал книгу: «Если умру, не поминайте лихом. Всячески согласен умереть, только не в постели», — я жив, Фурманов умер, пришли вести. — И правда — не так уж плохо — ничего не иметь, от всего отказаться — ради путин, ради ветров. Я так думаю, и мне становится покойно и хорошо, и я перестаю думать о Москве и мне только хочется итти,— как велик Земной Шар!..

Сумерки 24 июля.

Вчера было 117° жары: сегодня, должно быть, больше.— Несусветно! — Весь день валялся под фэном (и рассуждал, что фэн, этот электрический веер, построенный пропеллером, может быть иллюстрацией к теории внутриатомной энергии: если этот пропеллер вращать в несколько тысяч раз скорее, то он превратится в сплошную массу некоего материала, уже не меди, той из которой сделаны крылья,— будет очень легок, не будет даже гнать воздуха: его можно будет взять в руки; надо пола-

гать, что и для аэропланного пропеллера должен быть предел скорости его вращения, после которого результатность начнет, должна падать, его тоже можно будет взять в руки, как кусок очень легкого металла,— и: — как много энергии в этом мире, если рассуждать обратно, когда этот образованный колоссальной быстротой движения — в колоссальной быстроте,— кусок металла, никому не ведомого, вновь превратится в пластинки меди, оставленные электричеством!..), — весь день валялся под фэном, бредил и мучился жарою. Разговаривал с Крыловым и догадался — вот о чем: — оказывается, любовь может быть и без достижений, очень большая, очень крепкая, прекрасная любовь может свернуть в такие переулки сердца, когда — именно во имя этой любви — во имя ее гордости и величия — надо отказаться от объекта, ибо любовь может сублимироваться, отделиться от тела, вещей и времени объекта — так, что нежные слова этого объекта начинают казаться оскорбительными для любви — так, что надо освободить тело от объекта, чтобы осталась одна чистая чаша любви, целомудренная, прозрачная и ничем не засоренная, — любовь, оказывается, может хоронить именно то, что считается проявлением любви, — нежность, ласку, обладание, — хоронить во имя самой себя и во имя ее чистоты... — И еще думал, в этом всесветном бульоне удушья, в котором живет вся эта, окружающая меня, страна, — о том, как мудр мир, как все закономерно в нем, ничто не случайно и все сцеплено бесконечным рядом законов, прекрасных правд, к сожалению, таких, которые не могут считаться с человеком, как самоцелью, и в которых человек уравнен: и с пешкой из шахмат, и с каждой разновидностью вот тех москитов, тысячи сортов которых каждый вечер налетают ко мне в комнату. — Читаю сейчас я только про Китай. — Очень занятно наблюдать за самим собой, за тем, как

могут в человеке идти рядом две жизни: одна — та, моя, которая не связана никаким местом, ничем зависящим от места и времени, моя, мысленная, — и другая — та, китайская, буднично-писательская, когда я хожу, смотрю, вижу, слушаю... «Все в жизни лишь средство», — и я часто думаю, мне хочется оформить для писания, проверить этот мир человека, где, как музыка в нереальность, человек переходит в бессознательное, — но переходит не инстинктом, не чувствами, не эмоционально, — а: — мозгом, сознанием, вещами, наукой, — знанием.

Локс переоделся, чтобы ехать на обед. Едем. — Кто-то пришел, надо задержаться на минуту. Бой принес мне свечей от москитов. Небо, река, Бэнд — все уходит в вечер и в этой вечерней сырости — все серебряно. Луна уже поднялась: — я люблю луну, она всегда мне говорит о прекрасной романтичности, и о великой любовной таинственности романтики, такой, которой мне никогда не пришлось пережить, или я не заметил, и которой, должно быть, нет в жизни вещей и есть лишь в жизни образов, — луна поднялась, она совершенно синяя, такая, какой у нас она никогда не бывает. Маяк и фонари уже отражаются в воде, но видно еще, как дымы пароходов и заводских труб за Ван-пу поднимаются в небо, вырываются из бульона удушья — к той небесной сини, которая сейчас подменена этим серебристо-зелено-блевотным туманом... И еще: все время я никак не могу найти здесь Пушкина, а наизусть не помню, — а Пушкин почти физически нужен в этой туманности и неясности, — чтобы «багряной зарею» прозрачной его ясности охладить эту жаркую туманность: зори всегда холодны и свежи!.. —

Вышел сейчас на террасу: и вдруг луна отразилась в синей воде прозрачною ясностью. Днем вода в канале и в Ван-пу — желта, как кожа на турецком барабане...

Ночь с 24-го на 25-е.

Когда очень долго смотришь на один и тот же предмет, он начинает качаться, расплываться, в глазах идут круги, и все исчезает. Так было у меня сегодня в Джэствильд-парке, — растворилась в глазах ротонда, все провалилось в невидение, и — осталась одна музыка. Музыка есть настоящее причастие всему прекрасному: раньше я не знал этого. Должно быть, искусство музыки нашло во мне еще одного поборника, — я и не подозревал раньше того высокого и прекрасного, что порождает в человеке музыка. — Мы были на званом обеде, оттуда поехали слушать симфоническую музыку, — оттуда должны были поехать в загородный ресторан. Но мне не захотелось после музыки ехать «притонить», и я вернулся домой.

Китай!.. Если ломпацо или рыбаку не везет целый день, ломпацо знает, что его преследует злой дух, — и тогда ему надо перебежать дорогу автомобилю, лодочнику же надо проплыть под самым носом парохода, чтобы злой дух остался на одной стороне, а он на другой, — чтобы убежать от злого духа. Это — вообще. Вообще же и то, что ни на какие гудки китайцы не откликаются и — гуди не гуди — дороги не уступят. А в частности: едем сегодня, — бежит навстречу мальчонка, счастьем не раздавили, весь автомобиль заскрипел от тормозов, — шофер-китаец слез с автомобиля, поймал мальчонку и так напорол ему уши, что я пошел выручать, — шофер улыбается, мальчонка улыбается, — поехали дальше... — Я нигде не видел такого большого количества уличных драк, как здесь: едет рикша, полисмен-индус бьет его бамбуком; не поладили двое, не ругаются, молчат, а — мордобой; особенно — полиция, которой здесь до чорта много всяких национальных и непонятных сортов; все это — вообще. А в частности — я очень жалел сегодня, что я не умею

драться. Мы выходили из парка после концерта, толпою иностранцев. И на грех около ворот парка дрались два китайца, очень серьезно. По непонятным мне причинам, должно быть из-за «человеколюбия» и во имя порядка, — некий американец пошел их разнимать. Ему помогли еще двое белых. Растащили и пошли садиться в автомобили. Но китайцы опять пустились в драку. Тогда американец рассердился: он ударил китайца по лицу, китаец покачнулся, — американец ударил его по спине ногой, китаец упал и поднялся, намереваясь что-то сказать американцу, никак не злобное, — тогда американец вновь ударил китайца — по груди, — китаец упал, как падают убитые. Мне показалось, что американец убил китайца. Американец, кажется, тоже занедоумевал, потому что наклонился и потрогал голое тело китайца белым своим ботинком. Но китаец поднялся, — тогда американец еще раз ударил — облегченно вздохнув — ногою по спине. Китаец побежал от американца — так, как бегают битые собаки. Кругом стояло человек двести зрителей — —

Утро 25-го.

Сейчас должны собраться народы, чтобы на мотор-боте ехать на взморье. Днем, ночью, вечером, утром — все время, всегда над этой землей пахнет мертвецами и человеческим пометом. Главнейшей религией в Китае является почитание предков, тех, трупы которых так пахнут. Если вообще вся китайская культура так пропахла, как эти мертвецы, то это — очень не весело иметь — такой национальный запах!.. Меня мутит сегодня от этой жары и от запахов, — голова, точно я встал после долгой болезни.

...я подсмотрел — случайно — за Крыловым. Он сидел на постели, подогнув правое колено к подбородку, к губам (на колене в таком его положении образовывается ямочка), — и Крылов целовал ямочку на своем колене.

Лицо его было печально и серьезно. — Я придумал рецепт: когда человеку очень одиноко, когда ему некуда податься, — пусть тогда он целует это свое колено, — ибо приходит тогда некая непонятная нежность к самому себе, жалость, и человеку становится облегченней, словно коленка становится, может стать его другом и разделяет его одиночество!.. —

Сейчас Крылов уже встал, читает китайские газеты. — База У Пей-фу, Ляоян, затоплена разливом, разорваны плотины, вода вышла из каналов, город опущен на сажень под воду; кругом стен города — необозримое море воды: пока погибло пять тысяч человек. Это тают снега Памира.

Утро 26-го.

Вчера я понял, что такое китайский дракон и — почему он дракон. Мы ездили к морю. Там, пообедав в английском ресторанчике под пальмами и со льдом, мы отправились (чорт понес!) на форты, к самому берегу, женщины на тачках, мужчины пешком. Туда мы под этим палящим солнцем — с трудом, но добрались. А оттуда — солнце жжет так, точно к человеку прикладывают раскаленные железки, — все смокло от пота, точно человек прыгал в воду, — и первое, что ощущалось, это не боль головы, а — ломота рук и ног, как в ревматизме, как от холода, странная мучительно-приятная ломота. Затем сразу пришла отчаянная головная боль, сзади, от шеи под череп, оттуда в виски, ужасная боль, ужасное бессилие, страшное безразличие, когда все куда-то проваливается. И обратный путь домой — четыре часа — я лежал на палубе, в тени брезента, ничего не видя, ничего не понимая, собираясь помирать в страшной боли. Нас было восемь человек, четверо мужчин, один мальчик, три женщины: женщины вынесли солнце, из мужчин только один Локс избежал теплового этого удара. Вечером дома Локс, бывший каторжанин, сидел около моей постели, заботливо читал мне стихи, — а мне было все равно, только бы не эта мутная, тупая боль. Сегодня я — несмотря на то, что вчера я был в пробковом шлеме — не могу дотронуться до подбородка и до шеи: обожжены, сжигают. И все ломит ноги и руку: мужики российские в бане на полке выгоняют ломоту, — здесь наоборот. — Чорт бы побрал этого дракона! — синий дракон — на белесом, пустом, бескрасочном небе.

Крылов:

— В Шандуни хунхузы нападают на целые села и маленькие города, забирают все, вырезывают людей или связывают их и кладут на дороги. Оружие хунхузы покупают у местных военных частей генерала Чжан Дзун-чана.

2 часа дня.

В Москве сейчас семь утра. В моей комнате в Москве шторы еще опущены. Как можно часами заниматься глупостями: тем, что часами я восстанавливаю несущественности, мелочи, полумрак комнаты, лампу на столе!..

4 часа.

Дышать нечем!.. ужасно!.. А в Москве прохлада девяти часов утра.

6 часов.

В Москве 11 дня. Солнце ли за окном, или прошла гроза? — у меня за окном умирает день, гудит город, стонет река. Где-то играет оркестр европейской военной музыки: колония, чорт бы ее побрал!.. Еще один день уходит, Локс прилег с книгой, заснул. Сегодня вечером решили сотоварищи играть в преферанс. Ничего не хочется — ничего не думается. Написал в Россию письмо,

товарищу детства, с которым в Богородске вместе собирали татарские серьги, — написал ему, чтобы он собрал этих серег, отвез бы их ко мне в Москву: паренек сочтет меня не совсем в себе — из Китая, мол, и про татарские серьги!.. — У меня же с канала все время пахнет мертвецами.

8 часов вечера.

Тушил свет, выходил на террасу: ночь темная-темная, звезды, — и многие звезды — совсем незнакомы мне, чужие, не наши звезды, совсем не те, к которым я привык с детства, еще от Можая.

2 часа ночи.
С 26-го на 27-е.

Здесь ночь — в Москве семь вечера. Все это время проиграл в преферанс. Выходили сейчас на террасу: ветер, — и огромная, прекрасная стоит над водою луна, вода светится фосфорически под луною, шумят люди на канале. И вдруг все перепуталось: — этот ветер — эта луна — эти воды — эти шумы: в России сейчас осень, — а здесь сейчас пахнуло весной; прокричал таможенный катер, провыл сиреной, и эхо долго не может улечься, как у нас только по веснам. Это потому, что у нас только по веснам в половодья бывает такой насыщенный воздух. Но такой луны у нас не бывает, у нас она беднее, бессильнее...

...консул вышел ко мне на террасу. Ночь. Молчим. Хорошо — ветер! Голый, я стоял под ветром, — вот оно — тело. Хорошо под ветром: ничего не надо, все проходит с ветром — и хорошо делает, что проходит. Китайская пословица — «струны гитары разорваны» — означает разлад между возлюбленными. Возлюбленной у меня нет. Да здравствует товарищ ветер!..

...Приветствую все, приветствую! —
«. . . . . из недр ростков женьшеня сбирает старику любовные томленья
и смертному дарит двоенный небом срок.
И в мглистый час быка, созвездиям покорен,
с молитвой праотцев бери олений рог,
и рой таинственный, подобный людям, корень! —

— это перевод

с китайского о жень-шене, о былях и легендах, связанных с этим корнем, как мандрагора, — об этом «таинственном, подобно людям, корне». В чем дело? — да, и я, и все — таинственно, как музыка, как вот мои мускулы, сжимающиеся в желваки под кожей, те, которые я только что подставлял под ветер, которые под этим ветром стали бухнуть крепкой кровью, сказав, что они живут по-своему и по-своему могут мне предписывать свои законы бытия...

У Локса есть привычка разговаривать с самим собою. Сейчас, перед сном, принимал ванну, и вдруг поймал себя на фразе: « — ну, давай полезем в ванну, помокнем!» — и заметил, что я и сам разговариваю с собою вслух, добродушно, доброжелательно, как со старым приятелем, — это я разговариваю со своими ногами, руками, грудью, мылом. — Молчаливые собеседники! —

Утро 27-го.

Вчера, ложась спать, посмотрел часы: три. Проснулся, сейчас, посмотрел на часы: три. Пословица о том, что счастливые и пр. — устарела. Локс спит, боев нет. Читал газеты: все о том же, о жаре, холере, войнах, забастовках. Бой принес почту, — и меня обухом по голове порадовала весть о том, что мой пароход, кажется, вновь пойдет во Владивосток, то есть еще на месяц оттяги-

вается моя путина. Чорт бы все побрал! — маманди — поистине ядовито!..

За брекфестом Крылов читал китайские газеты. С Коу Ин-цзэ — еще веселее! — Фань Ши-мин, партизан Хенаньской провинции, выкинул лозунг — «Хенань — для хенаньцев!»... — И тогда Коу Ин-цзе, хенаньский дубань, обратился в один из глушайших хенаньских дистриктов, к тамошнему мандарину с письмом, в коем говорится о том, что Коу родом из этого дистрикта, что отец Коу умер, когда Коу было два года, что Коу с матерью покинул родину, когда ему было пять лет, но он помнит, что там остался его брат, — и Коу просит мандарина разыскать его старшего брата, имя которого он, Коу, за давностью лет забыл. Мандарин, в радости, отвечал, что, действительно, в его дистрикте есть один китаец по фамилии Коу, перевозчик на плоту, безграмотный, — и что этот перевозчик, действительно, помнит, как в самом раннем детстве был у него брат, который потом пропал. Коу Ин-цзэ, дубань, генерал, поехал к старшему своему брату на свидание, торжественнейшая произошла встреча между дубанем и нищим, безграмотным поромщиком. Они признали друг в друге братьев — со всею китайскою пышностью. Нищий получил полковничий чин и поехал с дубанем в Кайфын. Все было замечательно, но... в Кайфыне жила мать дубаня, которая оказалась — ровно на два года старше старшего своего, вновь найденного сына!.. — В газетах — веселие, но новый брат все же получает посты. — Все это понадобилось Коу к тому, чтобы доказать, что он — хенанец. Вот иллюстрация к китайскому феодальному бытию, к тому, что такое есть мандаринская политика и как дубани борются с лозунгами партизанов.

Посмотрел на часы: на них попрежнему три, — забыл завести, — завел.

. . . . . .

...в России сейчас прозрачные, ясные дни. За городом раздвинулись просторы, поля лежат сжатые, опустевшие, грачи собираются стаями и над перелеском летит воронья свадьба. Месяц выходит рано, долго висит в ненадобности, потом обмерзает ночью — или согревается ею, — и тогда из лесу выходит волк, бесшумно идет опушкой, не шелохнет опавшего листа. Тени в лесу от луны сини, исчерна. В лесу растут татарские серьги, — их не видно в ночи, это я только знаю. Пустые сумерки были очень долги. Волк долго лежал в овражке. Зайцев не слышно, они ушли в поля. — Любови человеческие цветут по-разному. Хорошо, если любовь зацвела весною (пусть в октябре), несла плоды летом, — тогда каждый год будут весны у такой любви, а осенями тогда так хорошо рыться в письменном столе, где пахнет прошлою зимой — перебирать бумаги и письма, — и эти, от прошлой зимы, сложить, связать и засунуть на дно нижнего ящика, — быть может, для того, чтобы посмотреть их последней — человеческой — зимой, — а иной раз для того, чтобы не вспомнить о них — даже этой человеческой последней зимой. Так идет простая человеческая жизнь... — Но волк вышел на опушку ночною осенью, прозрачной, как Пушкин, осенью охот по чернотропу и охотничьих рогов, воспевших осень, — волк увидел стеклянную луну стеклянными глазами. — Но — вот, тоже осень — — шумит, гудит, стонет лес, гудит, воет, плачет — неизвестно, кто, что — то ли ветер, то ли волки, то ли тот же лес. И падает, падает мелкий дождь, холодный, такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться и страшно подумать, что вот он еще вчера, сегодня утром — так спокойно насвистывал из «Веселой вдовы»: страшно представить, что вот вдруг ветер вместо него засвистит над лесом именно этой — «веселой вдовой». Тогда — надо человеку остановиться, присло-

ниться к дереву, сдвинуть на лоб кэпи и — засвистеть из «Веселой»...

Пришла московская почта, буду читать газеты.

8 вечера.

Сейчас мыл руки: из крана, откуда обыкновенно течет холодная вода, сейчас текла — горячая: так она накалилась в трубах солнцем.

После ленча спал. Я проснулся потому, что пришел и сел около Локс, молча. Я выпил содовой, съел апельсин, выкурил папиросу, чтобы продраться ото сна, — посмотрел на Локса, — он молча посмотрел на меня. Я все понял, и я сказал:

— Надо играть в шестьдесят шесть?

— Вот именно, — ответил Локс.

Жара. — Фэн гудит метелью и никакого отдыха не несет. Вот преимущество машинки: руками писать невозможно, ибо бумага разбухла бы от пота.

Сегодня были Дзян Гуян-ци и Ти Ен-хан, китайские литераторы, поэты и драматурги, мои друзья. Говорили о Китрусе. В метафизике маманди, протекая подземными ключами, общество выплывает теперь на земную поверхность. У общества будет свой журнал «Нэн-го» («Южная страна»). С ними ездили в китайский ресторан обедать, есть ласточкины гнезда, свиные выкидыши, жучков, засахаренное мясо.

5 часов утра 30-го.

Сегодня у меня бестолковый день, редкостный в нашем одиночестве: днем китайцы, вечером, ночью — —

Сейчас — пять утра: в Москве одиннадцать вечера, послезавтра август, синий вечер, левкои цветут... Рассвет — то пустое время, когда земля не засеяна светом. Я стоял сейчас на террасе: все в тумане, но в таком, какого в

России нет, сквозь который не видно только того, что творится на земле, — в небесах делается красными полынями рассвет, по реке, на всех парусах в тумане, плывут сампаны и джонки: тысячелетний пейзаж!.. — Россия — рассветы все очищают.

С двенадцати вечера до этого времени я просидел в компании соотечественников, местных артистов местных варьете, музыкантов и балетчиц. Собрались эти люди — в мою честь, — и это вклад в меня, ибо такого я еще не видал! Один мужчина работал в Хлестакова, — один был просто истериком. Организатор: «вам нравится эта? — берите бутылку и идите наверх, там есть темная комната». — Истерик: — «вы хотите знать, что есть мы? — вот дайте ей четвертную» — —

Все эти были русскими. Мне было совестно, что и я «искусник»... — Россия — рассветы все очищают. — Колония, Китай, — непонятно, ужасно!.. — Эти актеры через несколько дней понесут «русское искусство» — на Яву, в Батавию, в Маниллу...

Однажды ночью за окном около нашего дома я услыхал русскую ругань. Женщина садилась в рикшу, на другом рикше ее дожидался американский матрос. Русский мужчина в отрепье офицерского костюма требовал с женщины деньги. Женщина уехала. Тогда мужчина стал кричать ей вслед о том, что он — муж, он может не захотеть и не пустить ее ночевать с матросом, — он требует два доллара. Женщина уехала. Мне — моим путем рассуждений — казалось, что он сейчас начнет проклинать нас, россиян, СССР, большевиков, грозя нашему — большевистскому — дому, — нет: он проклинал только жену. —

...Очень нехорошо видеть таких «актеров»: надо умолять россиян, моих товарищей по искусству, чтобы не ездили, не ездили они в «турнэ» по Востоку, по коло-

ниям, ибо неминуемо женщины здесь превращаются в содержанок, а мужчины в сутенеров, здесь, где все за деньги. —

6.30 вечера 30-го.

Не спал всю прошлую ночь. Днем работал на китрусов. После обеда исхитрился поспать, хоть и ложился в простыню, как в Сахару жара. — Ура! Ура! — мой пароход будет здесь 8-го!.. Пот течет ручьями, лезет на очки, мешает видеть и писать.

Проснулся в бодром и радостном настроении. Еще в полусне, между сном и явью, от сна остается нечто неосознанное, такое, от которого просто — хорошо, — а потом мозг растекается по своим местам сознания, памяти, дел, и тогда — «ну, да, вот, 8-го приходит пароход!» — и все. И этого «все» — очень достаточно, ибо мертвая точка начинает двигаться, ликвидирует этот кусок моей жизни, самый фантастический в сущности и — самый тяжелый во имя фантастики, фантастический во имя тяжестей, — но такой во всяком случае, где переплелись, искареженные маманди, время, ночи, трупы на канале, непонимание, удушье, революция... Я плохо написал этот абзац: лучше не смогу. — «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» — вскричал доктор Панглос, когда его потащили на виселицу.

Ура! ура! — 8-го приходит пароход!..

Утро 31-го.

Читал газеты. Конечно, совсем иной мир. Там где-то — Европа, — а здесь: — Панама, Батавия, Манилла, эти экваториальные пропаренные бульоны жаров, Сингапур, штормы под экватором, Сун-Чуан-фан, Фань Ши-мин, китайцы, индусы, малайцы, их жизнь, их интересы, — португальцы, арабские евреи, испанцы, французы, англичане, — колонии и метрополии, — колонии.

И вот — я, задыхающийся мертвой человечиной, пахнущей с сампан, живущий бытом дипломатического корпуса, в дипломатическом квартале так, как я никогда не жил, в медлительности и комфортабельности, — в том, что сегодня старший бой без всякого моего спросу вычистил от вещей мои чемоданы, все перебрал и развесил по гардеробам, предварительно сносив суконное в химическую чистку, как делают всем джентльменам, — бой решил, что вещам не место в чемоданах, если джентльмен никуда не едет. Очень важно, что я разучился спать, потому что ночи все перешаршинивают. Когда я покину эту жару, когда мысли, виденное, воля и нервы придут в порядок, — это будет путь из фантастики. Я смотрю на мое тело в зеркале: я странно думаю о том, что мое тело стало совершенно бесполо, — это большая глава той фантастической повести, которую я пишу самим временем.

...если оторваться от Земного Шара и в колоссальном некоем полете посмотреть сверху на Земной Шар, — то увидишь его никак не озабоченным о человеке, враждебным человеку своими размерами, — тем, что север и юг, полюсы, скрыты от человека холодом, льдом, метелями, — тем, что юг сейчас в вечной ночи, север в вечном дне, — тем, что вокруг экваториальных стран, в смертельном удушьи, несутся туманы облаков, туч, испарений, плесеней, — ветрами, штилями, зноями, дождями, грозами, снегами, мраками, светами, которые идут над этим Шаром, летящем в пространствах пустот. — Да, так. И — да, велик человеческий мозг, который умеет, вопреки Канту, видеть «вещи в себе».

9.30 вечера.

Утром сегодня купил пасьянсные карты. Весь день раскладываю пасьянсы. Пришла парижская почта, Локс погружен во французские журналы. Я — никуда, к нам — никто.

10.30 вечера.

Израссказывал пасьянс до одурения, и все не выходит и не выходит.

11.30 вечера.

Еще раз грузился в комбинации карт, рассуждая о том, что колоссальнейшая закономерность движет картами, этим пасьянсом, который не сходится.

12 ночи.

Вышел! — два раза подряд!..

И я выходил на террасу, смотрел на звезды: — очень жаль, что летучие мыши больше не залетают ко мне, и очень жаль, что мышиный труп смыла гроза, — и совершенно жаль, что человечество еще не овладело умением анабиозить людей: я с очень большою охотой заанабиозил бы себя до парохода.

3 часа ночи 1 августа.

Ну, вот и ушел июль, — здравствуй, август! — и на канале август встретили канонадой шутих, фейерверками, — встретили смертью какого-то китайца, о котором я никогда ничего не узнаю, сколько бы я ни добивался и ни додумывался. С вечера поднялся ветер, с океана дует, качает лампу, сильный, свежий, — и легче думать. На автомобиле, в этом ветре, во мраке, мы мчали за город молча, каждый сам в себе, сумрачно. Летающих светлячков уже нет.

8 часов утра.

Всю ночь выл такой ветрила, рвал, метал, и сейчас гудит так, что наш дом похож на судно в море. Небо пустое, как в море. В газетах пишут о тайфуне на океане. Индийский океан меня встретит сентябрем, — эх, и покажет же меня, чтобы я знал, что такое путины по миру!..

Час дня.

Ветер! ветер! — Локс пришел ко мне и сказал, что он молодеет ветром на десять лет и нынче ночью первый раз за лето спал без кошмаров. — Золотой — золотой — золотой день, тот, о котором, по Майн-Риду, говорится: «Настал прекрасный тропический день». —

11 вечера.

Сейчас уже не ветер, а ураган свистит, воет, окна позакрыли, все дрожит: сейчас можно «помолиться» за плавающих!.. Уууу-ии-ююю! — гудит, воет, плачет. Ночь черная, канал замер, опустел, мечутся под террасой деревья. — Люблю стихии!.. Тайфун!..

Почему — Китай, а не Норвегия? — это чувство одиночества и бодрости, которое сейчас у меня, мне дал Гамсун. — Локс пришел ко мне с картами, мы играли в 66, он выиграл. — У каждого человека должно быть свое хозяйство: я совершенно уверен, что вот этот воющий ветер — есть предмет моего хозяйства и моего бытия, наряду с пасьянсами. Ночь черная-черная, звезды ярки, и этот гудящий ветер, дующий черноту на землю, делящий эту темноту совместно со звездами.

9 утра 2-го.

Ветер стихнул.

Пришел Крылов, показал текст телеграммы, которую он послал утром жене: «все мое отдаю твои руки, если они чисты». — Эта русская истерика, написанная латинским шрифтом, будет прогнана электрической энергией до Москвы, путиной трети Земного Шара.

. . . . . .

...Китай!..

Мне сказали, чтобы я делал приветливое лицо. Мы шли рабочим кварталом, там не было ни о д н о г о

европейца. Я видел, как в палатке, вроде тех, в коих торгуют у нас на деревенских ярмарках, таких, где стены из тряпок и на день эти стены подняты, — живет целая семья рабочего, со старухою бабкою при дюжине ребят, где и бабка и мать одеты только в тряпку на чреслах, а дети совершенно голы. Так, рабочими кварталами мы дошли до храма. Храм принадлежит этому району. Храм нищ. Это в сущности маленький городок храмов, где есть все — от молелен по разрядам и чинам молящихся и помирающих до мастерских, до клетушек (около богов) священных проституток (видел их, этих священных проституток, — они сидят табунком, молодые и старые, отданные отцами богу, вышивают, пьют чай, мирные). Храм носит имя — Храм небесной царицы. Две китаянки при мне принесли в жертву богине двух куриц. Там полутемно, очень тихо, сонно, пахнет сандаловыми курениями. Там у меня начала кружиться голова и мутиться, и болеть от жары, — и мы пошли восвояси. По китайским правилам нельзя из храма брать человека в тюрьму. Я ходил в этот храм потому, что именно из него был взят полицией Лю-хфа. Там в храме есть полутемные стойльца за решетками, с подметенным полом: там могут лежать экстатически-молящиеся — часами: — многие, кому негде лежать и спать, приходят туда, ложатся «экстатически» и спят. Очень дурманно пахнет в китайских кумирнях. Я слышал, как зевают китайцы: совсем не по-нашему, — они поют зевая, так же, не в обиду им, как воют собаки. Лю-хфа скрывался в этом храме и прятал здесь членские деньги. Полиция его взяла из храма.

. . . . . .

...жара — жара — жара! Пришел Крылов: еще образовался новый фронт: генерал Чу Пей-так вторгся в Западную Дзянси. Сегодня какой-то солнечный тайфун, уж и не знаю, что это такое, потому что ветра никакого, не

зашелохнет, и воздух мокр и горяч, как — как, когда разломишь только что вынутый из печки ситный. Крылов рассказал, как калганцы ссорились со своим богом Городской Стены. Слушая, я лежал в постели, больной от жары, в простынях, мокрых от пота.

В 1924 году было очень засушливое лето. Калганцы молились главному своему богу — богу Стены, молились соборно, чтобы помог: не помогал. Тогда калганцы вынесли бога из кумирни под солнце, чтобы ему самому — богу — стало жарко. Вынесли, — и на второй день полили дожди, такие дожди, что получилось наводнение, залило город, плавали по городу на джонках, многие перетонули. Калганцы вытащили тогда бога под дождь, посадили в лужу и там его пороли. — А потом, когда наводнение кончилось, бога поставили в кумирню и — забыли о нем до новогодья 1925-го. Перед самым новым годом гадатели установили, что: — изображение бога осталось в кумирне, но самого бога там нет, ибо он пошел жаловаться на калганцев на небеса, самому главному (забыл имя) небесному богу. Без этого же бога Стены — никогда не встречали нового года и нельзя встречать. Новый год приходилось отменить. Отменили. Но, все же, всем городом в полночь перед новым годом пошли к Западным воротам просить у бога прощения. Пришли с фонариками к воротам, открыли их и пали ниц перед воротами, моля бога помириться и вернуться в город. В половине четвертого утра стало известно, через бонз, что бог находится за воротами, куражится и пойдет на свое место в кумирню только в том случае, если люди будут заманивать его ползком. Пришлось поступить так: ползли от ворот в город на четвереньках, лицом к воротам, задом к городу, ползли задом-наперед до самой кумирни: заманивали таким образом бога. Приползли к кумирне, расположились вокруг нее веером, головами внутрь. Бог про-

следовал в кумирню, вместился в свое изображение. Люди сомкнули веер. И тогда — о, тогда! — люди бросились на бога в кумирню, избили его, заперли так, чтобы он не мог уже убежать, — и: по случаю нового года пошли играть в маджан, в коий и проиграли три дня подряд!..

Крылов клянется, что это не выдумка, но факт, иллюстрация старого Китая, живущего поныне. — Вышел на террасу, курил, запрокинул голову. Да, такого неба у нас не бывает: оно здесь гораздо темнее и глубже, далече, — и такие яркие, незнакомые звезды. Я с успехом могу теперь написать рассказ о том, что такое ссылка.

. . . . . .

...сегодня утром ко мне — в 8 часов ввалился мой друг — поэт Дзян Гуян-ци. Я спал. Он сказал, что ждет автомобиль, надо ехать киногафироваться в целях нашего китруса. Поспешно брился, мылся, и мы поехали на фабрику. Там — светопреставление, все вверх дном, вешают фонарики, под потолком развешивают картины, расставляют столики: делают артистическое кафэ. — Это я приду в кафэ, которого на самом деле здесь нет, в артистическое, с русской художницей (пригласили одну мою русскую приятельницу-художницу), с китайским скульптором (настоящим, знаменитым китайским скульптором; который 6 лет обучался во Франции), профессором (настоящим, словесником местного университета, популярным человеком) и с поэтом, моим другом и переводчиком Дзян Гуян-ци. Мы сядем за столик, будем разговаривать, нам будут подавать две девушки, — я, как демократ и как сын революционного народа, предложу им с нами выпить, подсесть к нам, — они подсядут, и Софья Григорьевна — русская художница — будет одну из них зарисовывать. Кафэ полно народу. Два студента узнают меня и просят познакомить их со мною. Мы меняемся визитными карточками. Мы говорим. Они, студенты,

говорят, что они приветствуют меня, русского революционного писателя. Мы все встаем, чтобы совместно выпить, и студенты, и горничные, и — мы, наука и искусство. И я вкладываю руки студентов в руки горничных — по-европейски — как символ содружества науки и демократии, содружества труда и знания!.. — Так было выдумано Ти Ен-ханом.

Разыграно было не совсем так. Столпотворение творилось вавилонственнейшее!.. — кафэ готовили до двенадцати дня. Жар жарил невероятный. Все в суматохе говорили только по-китайски. В 12 часов, по команде, так что я ничего не понял, — всем населением, человек тридцать,— попросту, по-рабочему, — двинулись в соседнюю китайскую кухмистерскую обедать. Дали полдюжины супов, лягушек, лотосов, кусочки собаки. Софью Григорьевну чуть-чуть не стошнило, хотя она и не ела. Я ел, пил и сидел мокрым, как мышь. Вернулись. Народу еще прибавилось. Столпотворение. Тут-то и начались мои страдания.

Начали киногафироваться. Меня посадили в центре, все прожекторы навели на меня, а кроме прожекторов установили еще такие щиты, которые отбрасывали на меня лучи настоящего солнца. Эти-то щиты и были моим ужасом, ибо, во-первых, они палили утроенным жаром, а, во-вторых, я от них — слепнул!.. — Все разместились по своим местам. Хотя на киноленте и не слышно, —тем не менее, музыкант играл на скрипке и пел певец,— китайская же музыка и пение — на ухо европейца — кажутся окончательным вырождением слуха, от пения и скрипки у меня начинали ныть зубы, как они ноют, когда трут пробкою по стеклу. Все говорили сразу и был неимоверный ор, мне никак не понятный. Дзян Гуян-ци — должен был и играть и переводить то, что говорят мне: ему кричали благим матом, он отворачивался от объектива и орал

мне. — Началось так. Вышли, сели, сняли головные уборы, заказали вина, девушки принесли: все шло по порядку. Но тут пришли студенты и сели так, что щит (проклятый) оказался против моих глаз. Я встал, чтобы поздороваться со студентами и дать им мою визитную карточку и: — ослеп, форменно, — понимаю, что ничего не вижу, — силюсь раскрыть глаза — опять сноп этого неимоверного солнца, опять жмурюсь и тяну руки к лицу. Оператор вертит, — я понимаю, что так не знакомятся. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Все орут. Ничего не понятно. И я стою, плачу, текут слезы от света и боли в глазах. Музыка воет. — Начали это место переснимать вновь. Я понимаю обстоятельства: позвали крупных людей, уважаемых и известных, да и мне дурнем выглядеть не хочется: на всю эту операцию я согласился, хоть и понимал, что глуповато, только ради дружбы китруса да ради хороших людей, также согласившихся на этот трюк, на тот, что, мол, вот она — настоящая китайская действительность, скрашенная известными именами!.. — Но я увидел, что все китайцы давно уже бросили «играть» и — борются только с солнцем и этими проклятыми солнечными щитами, слепящими и поджаривающими человека: так что получается даже хорошо: иллюстрируется, как люди страдают от солнца и не смеют глядеть на дракона. — Музыка играет, певец поет, солнце сжигает, пот течет, все орут по-китайски, ничего не понятно. Режиссер орет на Дзяна. Дзян орет на меня. Я слеп и глух.

Так до четырех часов. Тогда — опять точно по команде — все встали, чтобы пить чай. Я отпросился домой — отмолился! — и, приехав, экстреннейше полез в ванну... — Некогда, когда меня брали в солдаты и проверяли мою близорукость, мне впрыскивали в глаза атропин: я полуслепнул, и мои зрачки теряли возможность расширяться и суживаться: сейчас мои глаза, после этих киноопераций, не могут смотреть так же, как после атропина. И все время у меня в горле и в голове — эти светы, вои и музыки.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

. . . . . .

2 часа ночи.

Очень странное состояние возникает, когда часами раскладываешь пасьянсы: все сливается в глазах, нельзя уже оторваться от карт, но нельзя и сосредоточиться на них, — карты сливаются, карты вырастают до огромных размеров, карты проваливаются куда-то, уменьшаясь до булавочных головок. И тогда начинает казаться, что стол, машинка, карты на столе, — все движется, ползет, живет. И мысли тогда куда-то проваливаются. Локс разговаривает сам с собою. И наяву тогда путаются сны: кошмарствуют прожекторы, от которых слепнешь, пароходы, китайская музыка и галдеж, кумирни, переулки. — Я прошел по комнатам нашего дома. В столовой на столе содовая и ликер, апельсины и карты для пасьянса, и сор от пепла и апельсинов. В гостиной перерыты сотый раз все журналы. В кабинете нечем дышать от кожи кресел. Там, за стенами нашего дома, — работают люди, воюют, умирают, предают, побеждают, торгуют, умирают от жары, от засухи, от наводнений, от голода, от холеры, заговорщичают, бунтуют — китайцы, — там, за нашим — этим! — городом, на огромных тысячах километров, где живет самая многочисленная в мире нация, та, которая первой изобрела печатный станок, порох, компас, то есть то, что дало мощь Европе, — та, которая живет в ужасной нищете и варварстве, в грязи, в удушьи трупины, от которого у меня, в частности, скоро начнется психическое расстрой-

ство... Я мозгами развожу, как философы руками: я очень устал, очень измучен, — и над картами мои мысли научились двоиться, троиться и вообще быть только «дробями», потеряв возможность координироваться в задачах со «многими неизвестными». Локс разговаривает сам с собой: Локс живет в этом мире потому, что по всему Земному Шару должна пройти коммунистическая революция. — — Здесь в доме у нас — зима и ссылка.

. . . . . .

...в России сейчас август. Ночь. Падает, падает мелкий дождь, холодный, такой, в котором человеку, если человек идет лесом, страшно двинуться, страшно подумать, что вот он еще сегодня утром насвистывал из «Веселой вдовы». Но дождь перестал, и в ненадобности повиснул на небе месяц, обмерзает ночью, — и тогда из леса выходит волк, не шелохнет опавшего листа... — Ах, Россия, моя Россия, — отъезжее поле мое!.. — Стеклянными глазами волк глядит на стеклянную луну.

Москва, на Поварской, 7 февраля 1927.

СОДЕРЖАНИЕ

КОРНИ ЯПОНСКОГО СОЛНЦА

Вступление

Стр.

Дневники с Синсю. 7

Изложение

1. Вулканы. 16
2. Без заглавия, справка. 22
3. Две души принципов «наоборота». . . . . —
4. Харакири. 27
5. Йосивара, ойран, гейши. 30
6. Вечер на Хиноки-тьо. 39
7. О иероглифах. 46
8. Сделанные люди. 50
9. Шум гэта. 54
10. Шум гэта и вулканов. 60
11. О геометрической формуле шара. 64
12. Театр и живопись — элементами формулы шара. . . . 66

Вне плана изложения

1. Япония — европейцу. 74
2. Япония — мне: полиция. 76
3. Япония — мне: общественность 83
4. Япония — нам: общественность 87
5. Япония — миру. 91
6. Письма как иллюстрации формул 96

Заключение

Стр.

1. Япония с аэроплана. 99
2. Япония до Японии, Корень Солнца. 107
3. Япония — для меня. 112

Р. КИМ. НОГИ К ЗМЕЕ (ГЛОССЫ)

Предисловие. 121
I. Великое землетрясение 1923 года. 122
II. Акита Удзяку 123
III. Три выписки вместо комментария. 124
IV. О бусидо. 125
V. Нобори Сьому. 136
VI. Мусянодзи. Санэацу. . . . . —
VII. Два слова о японской стыдливости 137
VIII. Йонэкава Масао 139
IX. К вопросу о культе лисицы . . . . . —
X. О иероглифах 141
XI. Об одном японском тоннеле. 150
XII. Осанаи Каору 153
XIII. «Дорога цветов». Вертящаяся сцена 154
XIV. Начало эры. 155
XV. Японские писатели и Б. Пильняк 157
XVI. «Япония № 2». 159
XVII. Вместо глоссы — советуем. 172

КИТАЙСКИЙ ДНЕВНИК

Глава первая 177
Глава вторая 193
Глава третья 218
Глава четвертая. 246
Последняя глава 269

1 9 3 0

ДВА РУБЛЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ КОПЕЕК